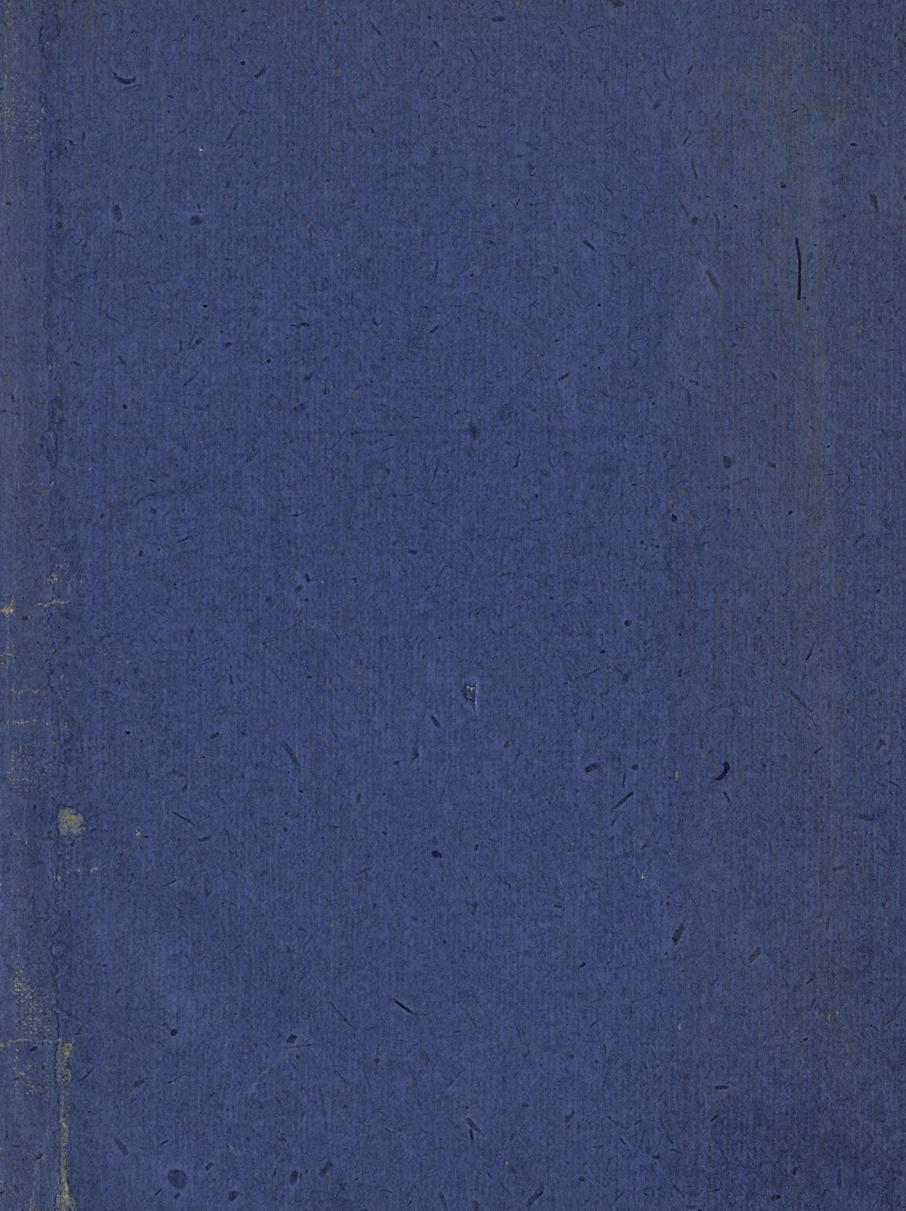


R $\frac{191}{170}$

~~R 170~~
~~540~~

R 191
170



Д. ОСЬКИН

R 191
170

~~R 174
540~~

Записки
солодата

Ф 801-21
2041

„ФЕДЕРАЦИЯ“

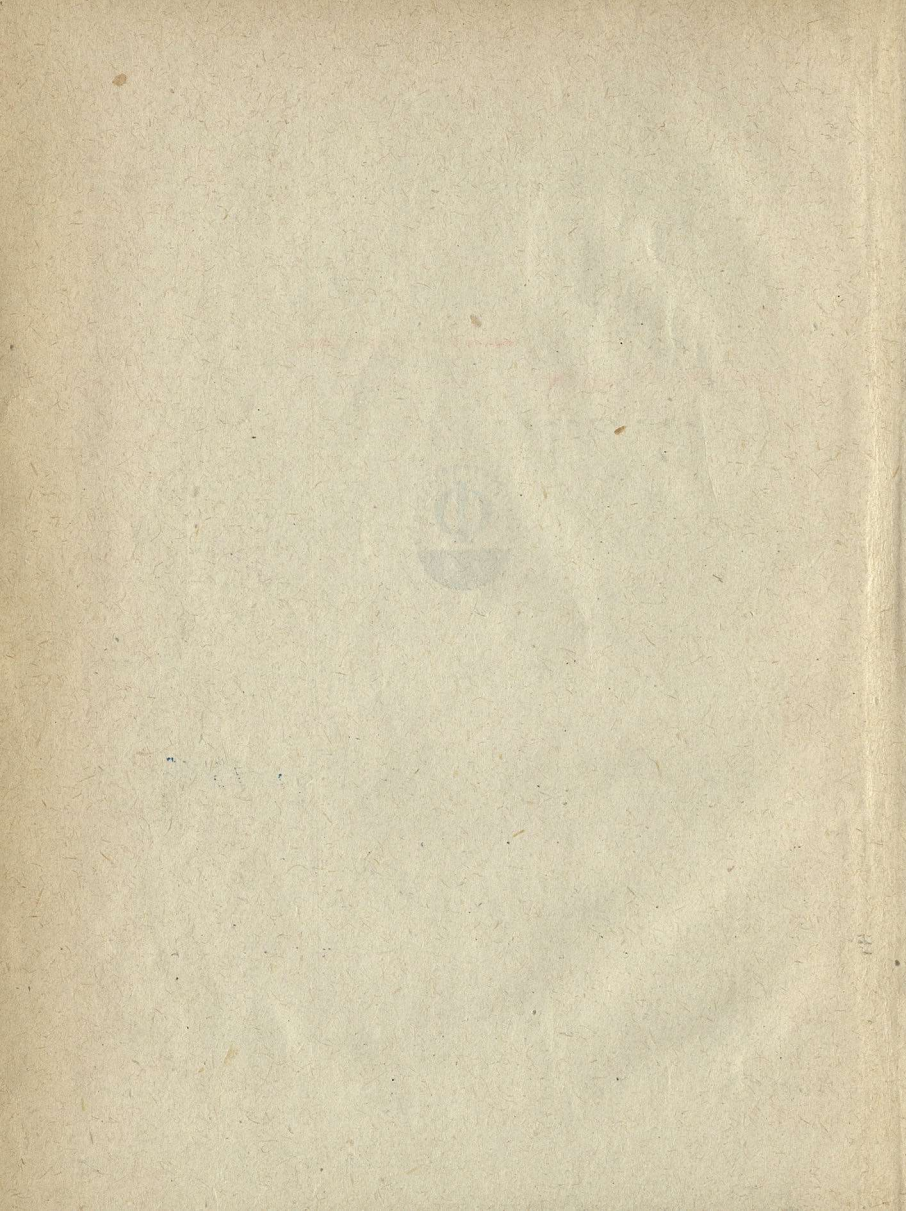
1929

Д. ОДРИН

ФЕДЕРАЦИЯ

1991





Д. ОСЬКИН

~~R 179~~
~~540~~

R 191
170

ЗАПИСКИ СОЛДАТА

111534

18.06

29-13983



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКВА — 1929

«Интернациональная»
(39) тип. «Мосполиграф»,
Пугинковский пер., д. 3.
Главлит № А 28.761.
Зак. 455. Фосп. № 192.
Тираж 6.000.



2020125672

ПРЕДИСЛОВИЕ

Грандиозные события октябрьской революции и гражданской войны служат нашему поколению и будут служить поколениям грядущим неиссякаемым источником материалов для работников пера—будь то историки, публицисты или художники слова.

В современной литературе преобладают художественные произведения, монографии и воспоминания, отражающие под тем или иным социально-классовым углом зрения Октябрь. Оно и понятно—«довлеет дневи злоба его». Даже люди, всем своим классовым нутром ненавидящие пролетарскую революцию, не могут пройти мимо событий, всколыхнувших десятки и сотни миллионов людей.

Империалистическая война, облегчившая победу российского пролетариата, дезорганизовавшая господствующие в России классы и расколовшая империалистов на два воюющих лагеря, также является событием всемирно-исторического значения — таким рубежом в истории человечества, от которого начинается эпоха пролетарских революций.

Вот почему нельзя не приветствовать тех из наших советских литераторов, которые дают картины

кровавой бойни народов. Работы их имеют не только историческое значение: они дают материал для классовой ориентировки нашей молодежи, готовящейся к активному участию в строительной работе и к классовой борьбе между капитализмом и социализмом. А молодежь наша должна знать, что такое империалистическая война, не только по историческим учебникам, но и по живым изображениям людей, втянутых в круговорот событий, боев, наступлений и отходов.

«Записки солдата», рекомендуемые вниманию читателя, не претендуют на анализ большого масштаба: простым, легким, доступным даже не искушенному читателю, языком автор рассказывает о фактах «дней минувших», в которых самому ему пришлось принимать участие в качестве рядового солдата. Оськин не «аналитик». К характеристике старой царской армии и к показу будней войны он подошел с другой стороны: он рассказывает нам о людях, которых встречал, о делах этих людей, об их стремлениях, желаниях и привычках, он изображает их в походе, в бою, на отдыхе, в казарме, в окопе и в землянке. Достоинство же книги состоит в том, что, хотя рассказ и идет об отдельных людях — читатель явно ощущает, что эти отдельные люди выражают настроения и переживания масс, тех или иных социальных и служебных категорий старой царской армии.

Образ, выведенный писателем, только тогда представляет художественную ценность, когда в нем собраны в одно целое наиболее типичные черты группы, социального слоя, поколения, эпохи. Герои повести или рассказа должны жить не в безвоздушном пространстве, а в определенной социальной среде, в конкретной бытовой обстановке: попробуйте оторвать их

от этой среды и обстановки и получится пустышка, ни для кого не представляющая интереса.

Оськин сумел дать нам зарисовки отдельных людей на фоне той социальной, служебной, боевой и бытовой обстановки, в которой люди живут, ходят, говорят, колят штыками, стреляют, наступают и отступают. Поэтому, когда читаешь о держимордстве какого-нибудь офицера, о его издевательствах над солдатом, то совершенно произвольно видишь, что установленные уставами царской армии служебные отношения между офицерами и солдатской массой были ничем иным, как отражением классовых отношений во всей дореволюционной России. Это качество книги придает ей особую ценность.

* * *

Всякая армия есть сколок с Государства. Армия отражает в своей структуре те отношения, какие существуют между классами в данной стране. Социально-классовая структура старой России находила полное свое отражение в царской армии, в таком подборе офицерского корпуса, который обеспечивал бы господство помещика и дворянина—особенно на высших командных ступенях. И поскольку крестьянская масса старыми правящими классами рассматривалась не иначе, как «тяглое сословие», как навоз для процветания сословия дворянского, постольку и в армии солдатская масса низводилась до роли пушечного мяса.

Это положение, известное каждому хоть сколько-нибудь политически грамотному читателю, получает чрезвычайно четкое, образное и конкретное выражение на страницах «Записок солдата».

В самом деле: разве солдаты показанные Оськиным не пушечное мясо, не презируемое высшими сосло-

виями «быдло»? Вот случай, когда эвакуируемый с фронта раненый солдат Оленин, тяжело ступающий на костылях, сморщившийся от боли, «осмелился» пройти по перрону вокзала в поисках санитарного приемного пункта. Навстречу генерал. И что же? «Доблестный защитник», «солдатик» и «серый герой» одним своим присутствием на перроне повергает генерала в состояние самой необузданной ярости — он с ругательствами гонит Оленина прочь с платформы. А вот другой случай, когда командир полка дразнит голодных, измученных солдат хорошо пахнущим око-роком и гонит их дальше, в бой. Послать взвод, роту на верную смерть — никому ничего не стоит. А так как офицеры великолепно знают, что часть послана действительно на верную смерть, они предпочитают оставаться при штабе полка, перепоручая командование унтер-офицерам. Под ураганным огнем германской артиллерии наши солдаты стоят даже без винтовок. Когда же раненый солдат попадает в тыл, его бросают почти на произвол судьбы, с издевкой довозят до тылового госпиталя, где он попадает под «нравственную» и лечебную опеку сюсюкающих дам-патронесс.

А офицеры — представители командующих классов? Они произносят речи о войне «за веру, царя и отечество», о немецком засильи, требуют от солдат самопожертвования и беззаветной храбрости, а сами — снаряжают целые обозы и эшелоны из награбленного добра и отправляют их в Россию, пьянствуют, наси-луют и пользуются всяческими удобными и неудоб-ными случаями, чтобы уклониться от участия в бою. Были, конечно, и среди офицерства люди «с со-вестью» — Оськин описывает и таких, но они мало приметны среди бездарностей, пьяниц и трусов.

Солдатская масса не понимала, во имя чего она

несет неслыханные мучения, во имя чего льются реки крови. Озлобление против командных классов исподволь накапливалось, росло, ширилось, и нет ничего удивительного в том, что классовая ненависть солдатской массы во время революции обратилась на офицеров: они—особенно в кадровой своей части—были плоть от плоти и кровь от крови господствующих классов, угнетавших столетиями русского мужика. «Иначе не могло быть и не может быть»—таков непосредственный вывод после знакомства с теми буднями войны и взаимоотношениями в русской армии, о которых нам рассказывает Оськин.

* * *

Красная Армия в своей организации отражает классовую структуру советского государства, на защите которого она стоит. Она есть вооруженный союз рабочего класса и крестьянства и ее командный состав комплектуется из рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Красноармеец видит в лице своего командира не классового врага и угнетателя, а товарища по классу, вооруженного более солидными знаниями, опытом и ориентировкой. В этом—несокрушимая сила РККА, в этом ее преимущество перед армиями капиталистических государств. В Красной Армии не может быть таких взаимоотношений, о которых нам рассказывает автор «Записок солдата».

Классовая сплоченность и солидарность между красноармейцем и командиром РККА создают прочную идейно-политическую основу, на которой в значительной мере зиждится боеспособность нашей Красной Армии. Поэтому насколько неизбежен был развал старой царской армии, настолько неизбежна бу-

дет прочная спайка и стойкость Красной Армии в будущих схватках с империалистами. Но империалистические армии построены по такому же принципу, что и наша старая царская армия. И у них офицерские кадры являются представителями командных классов, интересы которых противоположны интересам солдат, набираемых из трудящихся масс. И то, что рассказывает нам Оськин в своей книге, характерно для армий наших ближайших соседей—наиболее вероятных противников, которые нападут на Советский Союз. Поэтому книжка Оськина представляет большой интерес не только с точки зрения ее внешнего стиля, подхода к оценке людей, событий и фактов, не только с точки зрения исторической: она, страница за страницей, раскрывает перед нами все последствия противоположности солдатских и офицерских интересов.

Мы горячо рекомендуем книгу командно-политическому составу нашей Красной Армии и красноармейцам. «Записки солдата» должны быть в библиотеке каждой воинской части. С этой книгой, опираясь на факты, в ней изложенные, можно вести большую воспитательную работу с красноармейской массой.

Само собою разумеется, что книжка представляет большой интерес также и для рабочего читателя—особенно для нашей молодежи, не знающей опыта империалистической и гражданской войны.

Начальник Агитпропотдела ПУР'а
Б. Зорин.

ГЛАВА I

ПРИЗЫВ И СЛУЖБА В РОТЕ

Военная служба всегда казалась мне чем-то вроде тюрьмы. Я никак не мог привыкнуть к мысли о том, что на меня наденут солдатскую шинель и я превращусь на несколько лет в «серую скотинку».

Когда волостной писарь Егоров рассказал мне, что сельские учителя по закону освобождаются от призыва, я сразу воспрянул духом и решил воспользоваться этой льготой — подал прошение директору народных училищ и начал энергично готовиться к экзаменам.

Все было устроено, подготовлено, занятия шли отлично — но вдруг произошел неожиданный казус: объявили новый закон, по которому с осени 1913 года от воинской повинности должны были освобождаться только те из учителей, кто к моменту призыва проучительствовал не менее пяти лет.

Усилия целого года пропали даром. Удрученный и встревоженный, я обратился за советом к Егорову. Тот посоветовал мне итти на службу добровольцем.

— Здоровье у тебя отличное, — говорил он, — и отвертеться от солдатчины тебе все равно никакими способами не удастся. Остается одно — получить назначение в пехоту, а то отправят в какую-нибудь специальную часть, или еще, чего доброго, во флот, на шесть лет...

Делать было нечего — пришлось соглашаться.

Я подал заявление о приеме меня добровольцем в пехоту и просил, чтобы зачислили меня в Тульский полк, в котором служило в то время несколько товарищей-односельчан.

* * *

Вскоре наступило время призыва. С тяжелым сердцем покинул я дом и родных и отправился в город.

Здание уездной земской управы было битком набито рекрутами и их родственниками.

В просторном зале, в котором обычно происходили заседания и уездные съезды, расположилось воинское присутствие во главе с предводителем дворянства, одетым в расшитый золотом мундир. Члены комиссии — председатель земской управы и военный врач — сидели рядом с ним.

Рекрутов, раздетых почти до нага, вызывали к столу комиссии по порядку вынутаго каждым из них жребия. Делопроизводитель, старенький чиновник, выкрикивал фальцетом:

— Номер двести четырнадцать, Иванов!

Иванов неловко сбрасывал с плеч нижнюю рубашку и торопливо, стараясь итти на ципочках, подходил к столу. Военный фельдшер подставлял к нему мерку роста; затем рекрут попадал к уездному врачу, — тот спрашивал чем он болен, морщился при ответе и оглядываясь в сторону председателя комиссии ронял:

— Здоров.

Рекрут смущенно поднимал рубашку, мелкими шажками отбегал в сторону товарищей, ожидавших своей очереди. Его сейчас же окружала группа призывников, сыпались вопросы, а он в смущении озибался кругом, путаясь в одежде, отвечал: — Не знаю, кажется гож, — и возбужденно выбегал на лестницу, где ждали его родственники.

Наконец наступила моя очередь.

Врач задал свой обычный вопрос. Я ответил, что здоров и вздрогнул от прикосновения его холодных пальцев. В это время предводитель дворянства спросил:

— Оленин? Это твой отец был старостой?

— Да, мой.

— Гож, — прокричал предводитель дворянства, не ожидая заключения врача.

Я отошел.

Также, как и других, меня окружила группа рекрутов. Кто-то из них иронически произнес:

— Сам хочет на службу итти, шкурой будет.

Я выбрался на улицу и потихоньку побрел на постоянный двор, где остановились мои односельчане.

На следующий день я отправился в управление воинского начальника, чтобы узнать, в какую часть мне следует явиться.

Управление помещалось на окраине города, в старых полусгнивших казармах. В канцелярии я столкнулся с воинским начальником, подполковником Петровым, и он, услышав, что я поступил добровольцем и еще до призыва подал ходатайство о назначении в один из Тульских пехотных полков, разрешил мне двухнедельный отпуск с тем, чтобы 5 ноября я явился на станцию Епифань, откуда назначена отправка новобранцев.

Получив это разрешение, я сразу же уехал домой.

Две недели между призывом и явкой пролетели незаметно. Все эти дни пришлось выслушивать упреки матери — зачем добровольно пошел на военную службу, может быть достался бы дальний жребий... Мать потихоньку собирала необходимые для дороги вещи, готовила всевозможные мелочи — иголки, нитки, портянки — а я навещал своих знакомых и приятелей и большую часть времени проводил в Спасском. С тем, что мне почти три года придется пробыть на военной службе, я совершенно примирился и прово-

дил длинные осенние вечера в комнатке у Л.А. в разговорах о предстоящей солдатчине и о тех изменениях, которые могут за это время произойти. Мы улаживались, что будем писать друг другу, строили планы о будущей совместной работе в какой-нибудь из школ и, хотя вслух и не говорили этого, было ясно, что если мы будем работать в одной школе, то будем и вообще вместе.

Ноябрь 1913 г.

Утром 5-го ноября я пришел на станцию Епифань, чтобы ехать в Тулу, в полк.

Пока я ожидал поезда, к станции, из уездного города, подошла маршевая команда новобранцев. Я присоединился к ней, заверив старшего, что находился в отпуску с разрешения воинского начальника.

Вскоре прибыл поезд, состоявший из товарных вагонов. Унтер-офицер распределил всю нашу команду на группы по сорок человек. Заиграла гармошка и под звуки ее и пение поезд тронулся. Пели, конечно, только новобранцы — из огромной толпы провожавших их родственников несли плач женщин и крики родных.

В Тулу прибыли уже ночью.

Шел дождь, новобранцы, одетые в легкие тужурки, ежились от холода. Нас поставили в два ряда вдоль поезда, затем при свете фонаря по списку проверили все ли налицо. Пока производилась эта проверка

подошла группа солдат, человек в пятьдесят, от того полка, в который мы направлялись. Нас отвели на вокзальную площадь и выстроили по-военному. По сторонам нашей партии оказались солдаты с винтовками, несколько солдат было сзади, и в их сопровождении, как бы под вооруженным конвоем, мы направились к казармам.

Итти пришлось почти через весь город. Нас заставили шагать прямо по мостовой. Под дождем, по грязи прошлепали мы около четырех верст, спотыкаясь почти на каждом шагу. Мокрые, обессиленные, с избитыми ногами достигли мы, наконец, казарм.

Там, как оказалось, был устроен специальный распределительный пункт, куда приводили новобранцев. Наша надежда, что мы сейчас же будем размещены по сухим помещениям, не оправдалась: нас снова выстроили во дворе под проливным дождем. Мокрые до нитки, простояли мы в грязи целых полчаса, пока не явился фельдфебель и не сделал снова перекличку по списку...

Наконец нас отправили в каменный барак, очевидно приспособленный из бывшей конюшни. Он был освещен одной лишь маленькой керосиновой лампочкой, чуть мерцавшей, и в течение нескольких минут нужно было привыкать к этому освещению, чтобы глаза могли различить предметы, находившиеся в бараке. Низкий, с маленькими оконцами, с нарами вокруг стен, барак производил впечатление большой арестантской камеры.

Прежде, чем дать нам раздеться, дежурный выкрикнул по списку несколько фамилий и скомандовал: — За матрацами шагом марш, — повел вызванных куда-то вглубь казарменного двора.

Товарищи, ушедшие за матрацами, вернулись минут через десять, — но увы, это были не матрацы, а несколько свертков соломенных матов, которые и были розданы новобранцам вместо постельных принадлежностей.

После путешествия по железной дороге, перехода по городу и стоянок для всякого рода перекличек, всем нам захотелось есть. Те из нас, которые были посообразительнее или у которых были родственники позажиточнее, имели с собой еду, захваченную еще из дому. Но у большинства, в том числе и у меня, с собой ничего не оказалось, а так как мы в этот день на довольствие по полку записаны не были, приходилось укладываться спать голодными, в ожидании следующего дня, когда откроются лавки и можно будет купить чего-нибудь съестного.

Барак-распределитель, куда нас поместили, был настолько невелик, что еле-еле вместил прибывшую с нашим поездом партию.

Однако, часа в два ночи я проснулся от шума и увидел, что в этот же самый барак привели еще новобранцев, прибывших из других уездов. Их тоже старались разместить среди нас или вернее вместе с нами и бедный дежурный ломал себе голову, не зная,

как бы на нарах, предназначенных для ста человек, разместить полтора ста. Ясное дело, думать о сне уже не пришлось. Остаток ночи я провел сидя на нарах в разговорах с соседями.

Наконец наступило утро.

Нас повели умываться в другую часть двора, расположенную от нашего барака, примерно, за четверть версты. Затем под командой дежурного мы должны были проделать несколько гимнастических упражнений — вроде бега на месте или шагания гусиным шагом по лужам — и пропеть несколько песен, которыми, обычно, сопровождалась эта, так называемая, утренняя прогулка.

Лишь после этого мы вернулись в свой барак и получили разрешение пить чай.

У каждого из нас была с собою кружка, или чайный стакан. По распоряжению дневального несколько человек отправились на кухню за кипятком, вооружившись большими медными чайниками — в каждый из них вмещалось целое ведро. В эти огромные чайники дневальный бросил по несколько кусков плиточного чая и они, разварившись, сделали кипятком похожим не столько на чай, сколько на деготь. Тут же нам роздали по три куска сахара (дневная порция солдата) и выдали хлеб — по три фунта на человека. После мытарств и злоключений вчерашнего дня, этот солдатский чай и хлеб показались необычайно вкусными и мы несколько раз ходили за добавочным кипятком.

После чая вся наша братия высыпала на двор смотреть, как производятся занятия со старослужащими солдатами.

Старослужащих было немного. Все их воинские занятия сводились к тому, что они брали на плечо и к плечу винтовки и тотчас же отставляли их обратно. Механические движения эти сначала заинтересовали нас, но вскоре все это показалось чрезвычайно скучным и однообразным.

Не удовольствовавшись чаем и хлебом, я, вместе с присоединившимся ко мне Палесом — сыном немца-хуторянина из нашего уезда — решил пойти в город, чтобы купить в лавке какой-нибудь еды.

У ворот стоял дневальный.

Когда мы попытались пройти мимо него, он грубо крикнул:

— Куда? А разрешение есть?

— Какое разрешение?

— От господина фельдфебеля.

— Нет, мы только что прибыли.

— Ну, вот — пойдите, попросите.

— Да, голубчик, нам только зайти в лавку, купить колбасы да хлеба! Вот, напротив, у ворот.

— Нельзя, пускать не приказано.

Пришлось вернуться. Обратились к встретившемуся унтер-офицеру с просьбой разрешить выйти, но тот посмотрел свирепым взглядом, что-то крикнул и, не обративши на нашу просьбу никакого внимания, прошел дальше.

Не повезло нам и у фельдфебеля, подпрапорщика Гусакова.

— Надо знать порядки, как уходить, — ответил он, — спросите у старшего.

Мы направились к старшему, проискали около часа, но когда нашли его — он ответил:

— Куда уж теперь итти, обед скоро, так обойдетесь.

Создавалось впечатление, что мы попали в какую-то тюрьму, откуда невозможно выйти. Мы решили дожидаться казенного обеда. В час дня принесли бак с пшенной кашей и суп—бурду, которую не хотелось есть, несмотря на голод.

После обеда мы снова попытались выйти за ворота и опять ничего не вышло — не пустил дневальный. Тогда мы решили прибегнуть к хитрости — стали ходить по двору казармы, делая вид, что рассматриваем военные предметы, в изобилии валяющиеся во дворе, и, стараясь незаметным образом отойти подальше, поискать нет ли какойнибудь лазейки, через которую можно было бы пробраться в город. Сзади конюшни такое место нашлось. Оглядываясь, не видит ли нас кто-нибудь из солдат, Палес первый влез на забор; вслед за ним перебрался на улицу и я.

Так как мы были еще в своих костюмах (солдатское платье должны были выдать лишь после того, как разведут по ротам), наш вид не возбуждал никаких подозрений. Мы могли идти куда нам заблагорассудится.

— Пойдем к Соборному? — предложил Палес.

Соборный был владельцем одного из трактиров. Зашли к нему в трактир, наполненный народом, из которого добрая половина были местные извозчики, заказали себе обед и полбутылки водки. Пообедав, вздумали осмотреть Тулу и пробродили часа два, знакомясь с достопримечательностями этого недостопримечательного города... Однако, в конце концов все же надо было возвращаться «домой» в противные казармы. Палес предложил, прежде чем вернуться, зайти в магазин, набрать с собой съестных припасов и на всякий случай запастись водкой. Мы так и сделали — нагруженные покупками направились в казармы. По дороге встретилась пивная — мы не пропустили завернуть в нее, чтобы немножко нагрузить себя для храбрости, и в казарму попали уже в сумерки. Оказалось, что дневальный только не выпускает из казармы, а возвращаться в нее можно сколько угодно. Мы прошли совершенно спокойно, уже в ворота, а не через забор, как давеча.

Вернувшись в барак, мы убедились, что наше отсутствие известно начальству.

Старшего не было, но наши товарищи-новобранцы говорили, что он очень сердился, обещая вздуть нас, как только мы явимся. Мы не обратили на это внимания — обед с полбутылкой водки у Соборного и несколько кружек пива в пивной оказали свое благотворное действие; мы со смехом рассказывали о том, как перелезали через забор, где были, что видели и что притащили с собою.

В это время показался старший.

— Вы где, сукины дети, пропадали?

— Ходили купить продуктов, господин-старший.

— Я вам дам продукты!.. Показывай, что купили.

Показали.

— А это что такое? — закричал он уставившись на водку.

— Это для вечера, господин старший.

— Вот я вам покажу вечер!.. Давай сюда.

— Никак не могу.

— Давай сюда, а то под арест упеку.

Пришлось отдать и старший на наших глазах выпил водку в компании с другими ефрейторами.

Понятно, что после этого он никому о нашем уходе не докладывал, а когда на другой день мы обратились к нему за разрешением пойти в город, он не только разрешил, но напутствовал:

— Не забудьте ребята захватить с собой еще...

Утро следующего дня началось так же, как и предыдущее, — тем же кипятком с плиточным чаем и хлебом. В два часа дня нас вывели во двор и построили против здания канцелярии, — уже не по земляческим группам, как мы помещались в бараке, а по ранжиру, то-есть по росту.

Полковой адъютант, в сопровождении нескольких ротных командиров, со списком обходил выстроившихся новобранцев и отсчитывал по двадцать-тридцать человек, которых унтер-офицеры разводили затем в разные стороны.

Я попал, к моему удовольствию, в одну группу с Палесом и несколькими другими ребятами из своего уезда. Нас назначили в двенадцатую роту. Унтер-офицер вывел нас на улицу и мы снова зашлепали по грязи, по направлению к вокзалу, ибо казармы, в которых стояла двенадцатая рота, находились рядом с ним.

Казармы помещались в четырех-этажном кирпичном здании с огромным двором, обнесенным забором. Когда-то здесь был кожевенный завод. Уже несколько лет тому назад, после закрытия завода, городская управа отвела здание для нужд полка, но следы бывшего кожевенного производства сохранились до сих пор, в виде спертых запахов внутри помещения и невероятной грязи во дворе.

Когда мы добрались до нашего нового жилища, начало уже темнеть. Занятия в роте к этому времени были закончены. Солдаты отдыхали в перерыве между обедом и вечерним чаем. Нас, новичков, встретили дружелюбно. Мы едва успевали отвечать на посыпавшиеся вопросы. Нашлись земляки, которые расспрашивали о родных и знакомых.

Дежурный по роте ефрейтор Панков, распорядился притащить топчаны (здесь уже не было нар).

Для новобранцев отвели место отдельно от других взводов, по соседству с ротной канцелярией. На правом фланге навобранческого участка стояли топчаны ротной «аристократии», то-есть ротного фельдшера Дмитриева, симпатичного парня, получившего это звание

на годичных военных фельдшерских курсах, каптенармуса Доброхотова, веселого унтер-офицера, говорившего всегда прибаутками и наигрывавшего между делом на балалайке, и ротного писаря Андреева.

Мой топчан оказался рядом с койкой Дмитриева. Мне не пришлось жалеть о таком соседстве с «аристократами». Доброхотов сейчас же крикнул одному из солдат:

— Угощай чаем.

Солдат схватил чайник и побежал на кухню, но тотчас вернулся с вытянутой физиономией — оказалось, что водопровод испорчен и чая сегодня не будет. Это обстоятельство не смутило веселого каптенармуса. Он дал денег тому же солдату, чтобы он с чайником сбежал в соседний трактир. В ответ на такое гостеприимство, мне тоже пришлось раскошелиться — дать денег на баранки и белый хлеб к чаю. Это сейчас же внесло оживление в нашу компанию и я увидел, что в роте не так уж скверно, как было вначале на распределительном пункте.

На следующий день с утра к нам прибыл помощник ротного командира, поручик Соболев. Как только в дверях показалась его фигура, дневальный у дверей громовым голосом закричал:

— Встать!

Вся рота вскочила и вытаращенными глазами смотрела на офицера. Дежурный по роте быстро подошел к нему, держа руку у козырька, громко отпартовал:

— Ваше благородие, за время моего дежурства в роте никаких происшествий не случилось.

— Здорово, братцы, — обратился Соболев к роте.

— Здравия желаем, ваше благородие! — в один голос гаркнула рота и у меня в ушах зазвенело от этого крика.

— Где новобранцы? Позвать их ко мне, — бросил офицер дежурному, проходя в ротную канцелярию.

Мы столпились около канцелярии. Дежурный построил нас по ранжиру и, так как я был самым рослым из молодых, мне пришлось стоять на правом фланге. Офицер обратился ко мне первому:

— Звание? Образование? Губернии? Холост? Женат? — посыпались его вопросы.

Я отвечал, прибавляя к каждому слову «ваше благородие», как нас еще с утра научил дежурный. После меня Соболев перешел к другому и так по очереди опросил одними и теми же вопросами всех.

Минут через двадцать снова раздался громовой окрик дневального:

— Встать, смирно!

Вошел ротный командир, капитан Белов, и сразу по казарме пронесся запах водки.

— Здорово, братцы!

Вновь дружное повторение:

— Здравия желаем, ваше высокородие!

Затем Белов так же, как и предыдущий офицер, потребовал, чтобы к нему вызвали новобранцев. Снова построились около ротной канцелярии, опять

последовали те же вопросы... После ухода ротного командира, который задержался не более, как на полчаса, в роту пришли два других младших офицера и в точности повторили то, что было сделано предыдущими. На этом кончились утренние занятия.

После обеда фельдфебель приказал отвести нас в баню и выдать нам обмундирование.

В сопровождении ефрейтора мы шагали по мостовой к так называемым павшенским баням, которые арендовал полк.

Я никогда не видал ничего более грязного, чем эти бани. В раздевальне, очевидно для предохранения солдат от простуды, была постлана солома, пролежавшая, повидимому, несколько месяцев, и от нее шел отвратительный запах. Мыться не было никакой возможности, — скорее можно было набрать паразитов, нежели очиститься от своих. А так как каждый из нас приехал из дому относительно чистым, то не мудрено было получить заразу именно после мытья в этой бане. К счастью сопровождавший нас ефрейтор пришел на выручку, разрешив тем, кто имеет деньги, перейти в «дворянское отделение». Понятно, каждый из нас с охотой ухватился за эту возможность — мы вытащили по двугривенному, отдали ефрейтору, и через несколько минут он перевел нас в другое отделение, где, по крайней мере, не было на полу навоза.

Еще по дороге в баню нас завели в ротный цейхгауз за обмундированием, предоставив каждому возмож-

ность выбрать и примерить гимнастерку, шаровары, мундир, фуражку из черного сукна с белым околышем без козырька, шинель и башлык. Белье пока что не выдавали: в полку был заведен такой порядок, что в течение первого полугодия новобранцы должны ходить в своем белье и в своей обуви.

Вымывшись и надев на себя примеренное в цейхгаузе обмундирование, мы вышли из бани уже настоящими военными людьми, солдатами.

* * *

Наступили серые скучные дни.

Первое время нашу группу новобранцев обучал различным военным правилам один из молодых ефрейторов Губков, только что прибывший из учебной команды.

Он рассказывал, как отличить подпоручика от поручика, обер-офицера от штаб-офицера, офицера от генерала; кому надо отдавать честь просто, приложив правую ладонь к околышу фуражки, а кому становиться во фронт; как отличить генерала в том случае, если у него погоны закрыты башлыком — и т. д.

Здесь было множество всяких тонкостей, совершенно неуловимых для простого смертного, но бросающихся в глаза посвященному в это дело солдату.

Вот, примерно, задача № 1:

Молодой солдат находится в районе станции железной дороги. Из вагона поезда вышел военный. На

голове у него высокая папаха. Шея и плечи закутаны башлыком. Длинная шинель опускается почти до пят. По какому же признаку и как должен солдат отдавать честь?.. Так вот оказывается, если у этого военного на хлястике красная каемка — это генерал и, следовательно, надо становиться ему во фронт; если же хлястик обыкновенный, то честь отдается, как простому офицеру.

Или задача № 2:

Навстречу друг другу идут два военных с погонями, имеющими по два просвета. Однако, у одного погоны серебристого цвета, у другого желтые.

Кто из них штабс-офицер и кто чиновник?.. Оказывается, желтые погоны есть принадлежность офицерская, а серебристые — чиновника или полицейского чина, которым во фронт становиться не надо.

Все эти мудреные сведения нас вначале очень сместили. Но нужно было делать серьезные физиономии, когда слушаешь объяснение ефрейтора, — он не церемонился, давал два наряда вне очереди, а это значило, что надо подняться за три-четыре часа до обычного подъема, вооружиться шваброй, мокрыми тряпками и чистить пирамиды с винтовками, мыть подоконники и протирать шваброй полы. Само собой разумеется никакого удовольствия это не доставляло и каждый из нас стремился казаться чрезвычайно серьезным и внимательным ко всем объяснениям, какие преподносил нам ефрейтор.

Через некоторое время, когда в роту привели еще молодых солдат и группа новобранцев возросла до тридцати человек, ротный командир приказал одному из младших офицеров, подпоручику Медведеву, взять под свою команду всех новобранцев и заняться прохождением учебной программы.

Первые недели занятия шли без винтовок. Нам объясняли, что такое строй, шеренга, что надо делать по команде «становись», как производить равнение по команде «равняйся», как делать повороты направо и налево и т. д. Затем перешли к более сложным перестроениям и к «отданию чести». Отданию чести посвящали особенно много внимания и на протяжении чуть ли не целого месяца ни один из молодых солдат не мог получить отпуска в город до тех пор, пока не научится как следует отдавать честь и не сумеет точно изучить различие между офицерскими чинами.

Наконец, нам были даны винтовки. Это принесло с собою новые хлопоты. За всякую пылинку, оставшуюся на винтовке, хотя бы и не по вине солдата, он все равно наказывался. Нужно было знать точно номер и место, где должна постоянно находиться винтовка, уметь производить с ней все движения, какие мы перед этим делали без винтовок. Попутно нам показывали, как надо разбирать и собирать винтовку, и требовали, чтобы мы на зубок знали название каждой отдельной детали, каждого винтика. О том же, как надо стрелять нам рассказали только месяца через полтора после поступления в роту.

Не ограничиваясь медицинским осмотром, произведенным во время призыва, полковое начальство решило освидетельствовать всех новобранцев еще раз.

Как-то утром нас под командой ефрейтора отвели в околоток. Полковой врач, пропуская мимо себя длиннейшую очередь молодых солдат, меланхолическим голосом вопрошал:

— Чем болен?

Всякий, кто только не называл какой-нибудь серьезной болезни, получал в списке отметку «здоров».

Наконец дошла очередь до меня.

Признаюсь, к этому времени военная служба уже настолько мне надоела, что я частенько раздумывал над тем, как бы от нее избавиться. Здоровье у меня было отличное и придумать что-либо путное я не мог. Все же я решил сослаться на плохое зрение и, когда врач обратился ко мне со своим обычным вопросом, ответил:

— Плохо вижу.

Доктор взял несколько карточек с напечатанными на них буквами, отошел шагов на десять и, указывая на огромное «Н» спросил:

— Какая?

Я назвал безошибочно. Он указал на букву поменьше — я видел ее, но ответил, что не могу разобрать. Он выбрал букву покрупней.

— А эта?

— Кажется «п»... А может быть «р».

Однако, мне стало совестно и, когда врач начал показывать крупные буквы, я называл их правильно. Тем не менее в списке напротив моей фамилии врач поставил отметку: «В комиссию при гарнизонном лазарете».

Через неделю меня вызвали в комиссию и подвергли тщательному испытанию. Мне показывали через разноцветные стеклышки различные буквы всевозможной величины — многих из них я действительно не видел. Результаты осмотра сообщили через несколько дней. Мое зрение признали удовлетворительным. Делать было нечего — приходилось слушать.

Желание освободиться от солдатчины было, конечно, не только у меня, а почти у всех новобранцев. Каждому хотелось придумать какую-нибудь не существующую в природе болезнь, которая могла бы запутать врача и вызвать, если не полное освобождение от военной службы, то хотя бы долгосрочный отпуск.

* * *

В промежутках между занятиями мы собирались курить в коридоре, разговаривали о своем солдатском житье и хулили наших ефрейторов и унтер-офицеров, относившихся к солдатам значительно грубее, хуже, чем офицеры.

Однажды в нашей курилке, как называлась темная комната, где помещалась печка центрального отопления, несколько молодых солдат-евреев, только что прибывших в нашу роту, говорили о процессе Бейлиса. Кто-то высказал мнение, что подобные процессы ускоряют появления новых революционных настроений, задуманных в 1906 году; говорили, что такие процессы возмущают не только евреев, но и интеллигенцию и рабочих — что в крупных промышленных центрах выносятся протесты против этого дела, что будет сделан запрос в государственной думе и т.д.

Нас, тульских мужиков, эти разговоры, по сути дела, трогали мало — да никто из нас и не был искушен вопросами политики или приобщен к революционному движению. Жизнь, проведенная в деревне до поступления на военную службу, наложила свой отпечаток на каждого из нас: если в нашей среде и бывали случаи недовольства, то они направлялись по адресу местных властей в виде урядника или земского начальника. Поэтому мы говорили в нашей курилке в первую очередь именно о них. Как-то я рассказал собравшимся солдатам о епифанском земском начальнике, Игнатеве, в участок которого входила наша волость: перед моим отъездом из деревни на военную службу он издал такой приказ по волостям своего участка:

«Подати и недоимки должны быть взысканы со всех беспощадно, под личную ответственность волостных старшин и писарей. Приказываю влечь, налечь

и протащить. Влягните. Земский начальник Игнатьев». Этот приказ я увидел в волостном правлении, снял с него копию и направил в тульскую газету «Молву» с просьбой напечатать. Моя заметка почему-то не была напечатана. Волостные же старшины, получив приказ, действительно «влегли и налегли».

Говорили мы и о земельной политике, связанной с выходом на отруба и на хутора. Общее мнение об этом было самое отрицательное. Мы видели, как в деревнях наиболее богатые мужики за бесценок скупали у бедных крестьян земельные наделы; нередко бывало, что бедняк, продав свой надел и получив за это несколько десятков рублей, оставлял их в трактире того же кулака за выпивкой.

Случилось, что разговоры в курилке принимали бурный характер.

Особенно разошлись солдаты после одного в высшей степени мерзкого случая, разыгравшегося на наших глазах.

Офицеры нашей роты, если не считать постоянно пьяного капитана Белова, были довольно интеллигентны. По уставу они обращались к нам на ты, но никогда еще не позволяли себе резких окриков, грубостей, а тем более рукоприкладства. Двое же из младших офицеров, только что выпущенные из военного училища, были даже довольно демократичны. Один из них, сын местного ремесленника, до шестнадцати лет работал на оружейном заводе; другой —

по фамилии Тарновский—был потомком революционера, высланного из Польши во время восстания Костюшко и по слухам, доходившим до нас, стоял не на особенно хорошем счету у начальства. Словом, у нас не было оснований особенно жаловаться на своих офицеров. Но вот, как-то в роту явился командир нашего батальона — полковник Каверин. Вид его был чрезвычайно импозантен. Огромного роста, со стриженными седыми волосами, с полным ртом золотых зубов, с красной физиономией и багровым носом, полковник был затянут в корсет, а грудь его была увешана несколькими десятками всяких орденов и знаков,—очевидно тех частей, в которых он служил до поступления в наш полк. Весь его вид производил весьма внушительное и в то же время комическое впечатление фигуры из ярмарочных балаганов. Дневальный при входе полковника вначале опешил, потом диким голосом закричал:

— Смирно, встать!

Полковник дал ему подзатыльник за то, что он перепутал команду и сказал «смирно, встать» вместо «встать, смирно»; затем среди наступившей гробовой тишины Каверин поздоровался обычными словами:

— Здорово, братцы.

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие! — гаркнули мы.

Полковник медленным шагом прошел по роте, посмотрел под несколькими матрацами — не хранится ли

что-нибудь под ними (по уставу под матрацы класть что-либо воспрещается), поговорил несколько минут с младшими офицерами роты (ротного командира в это время не было) и затем потребовал созвать молодых солдат.

Нас сгруппировали вокруг подполковника и он, стоя в образовавшемся кругу, стал рассматривать каждого из новобранцев, задавая обычные вопросы—какой губернии, что делал дома, не хочет ли кто учиться и т. п. К нам присоединился помощник фельдшера, старый служащий, заинтересовавшийся не столько тем, о чем расспрашивал командир батальона, сколько бесчисленными знаками, которыми была усеяна грудь этого воинственного человека. И вот, заметив его, Каверин без всяких вопросов или каких-либо предупреждений несколько раз ударил его по лицу. Бедняга упал, из носу у него и из зубов потекла кровь, а Каверин сделав зверское лицо, затопал и стал диким голосом кричать:

— Под суд отдам, сгною, упеку, в Сибирь, в арестантские роты...

Все остолбенели.

Накричавшись вдоволь, полковник ушел...

Этот инцидент долго и горячо обсуждался нами в курилке.

Палес возмущенно говорил:

— Жаль, что у меня не было винтовки, я бы этому мерзавцу живот бы вспорол!

Мы с трудом успокоили парня.

При поступлении в роту, нас спрашивали, кто чем занимался до военной службы и у хорошо грамотных солдат взяли образцы почерков, так как для полковой канцелярии нужно было отобрать несколько писарей, чтобы заменить ими уходящих в запас.

В половине декабря из полковой канцелярии пришло распоряжение командировать меня и еще одного солдата, Воропаева, в штаб полка, чтобы испытать пригодны ли мы для писарской службы. Я доложил фельдфебелю о своем нежелании быть писарем, мотивируя это тем, что я поступил на военную службу охотником и по положению должен нести только строевую службу. Фельдфебель обещал передать это ротному командиру.

На следующий день я и Воропаев в сопровождении одного из ефрейторов были направлены в канцелярию полка. Там мы встретились с группой солдат из других рот. Пришел помощник адъютанта, подпоручик Топорков, провел нас в одну из комнат канцелярии, рассадил всех за столы. Писаря выдали бумагу и перья и Топорков начал диктовать:

— Вот пришла и зимняя Матрена...

— Ваше благородие, — обратился я к подпоручику, — писарем я быть не могу, прошу освободить меня от экзамена.

— Это не твое дело, — сердито ответил подпоручик, — хочешь или нет, сиди, пиши.

Я сел. Через несколько минут вошел полковой адъютант, поручик Максимов. Поздоровавшись с нами, он стал обходить каждого из солдат, рассматривая наши работы. Когда Максимов подошел ко мне, я встал и снова заявил, что писарем быть не хочу, что об этом докладывал ротному командиру, капитану Белову, и что капитан обещал переговорить с ним.

— Как фамилия?

— Оленин.

— Знаю, можешь идти.

Пользуясь тем, что Воропаев пишет, а ефрейтор должен притти не ранее, как через полтора часа, я, вместо того, чтобы идти в казармы, двинулся к своим знакомым и в казарму вернулся лишь поздно вечером.

Декабрь

Как-то после утренней поверки унтер-офицер Зубов приказал нам построиться для осмотра нашей одежды.

Начал он с того, что предложил нам разуться — некоторых поругал за неопрятность, других за неумение завертывать портянки по казенным правилам. Затем он приказал вытянуть руки и посмотрел у каждого ногти — насколько они чисты.

— Снять гимнастерки, — последовало дальнейшее распоряжение.

Проверив чистоту нашего белья, Зубов велел нам растегнуть ворота рубашек и пошел вдоль строя, глядя на шею каждого. Поравнявшись со мною и

Палесом (мы стояли рядом), он вдруг с возмущением остановился:

— Где крест?

— Какой крест?

— Божий крест, чорт вас возьми! Почему креста нет?

— Да я не ношу.

— Да ты что, неправославный, что ли? Если сегодня к вечеру не будет креста, доложу ротному командиру.

Делать было нечего — пришлось в обеденный перерыв пойти в полковую лавочку и купить пару медных крестиков. Вечером мы явились к унтер-офицеру и показали, что его распоряжение исполнено; после этого, вернувшись к своим постелям, мы сняли кресты и положили их к себе в сундучки.



Недавно к нам в роту прибыл вольноопределяющийся Блюм.

По образованию он врач и ему сейчас уже двадцать семь лет.

По новым правилам студенты-медики обязаны нести службу в строю в звании солдата всего четыре месяца. В течение этого времени они должны подготовиться к чину унтер-офицера и выдержать экзамен, а затем на год переходят на должность зауряд-врача. Блюм, как вольноопределяющийся, имеет право жить вне казармы на своей квартире, но, чтобы поскорее изучить военное дело, а также потому, что его семья живет

далеко на окраине города, он решил поселиться в роте. Койку ему поставили в нашем «аристократическом» углу. Таким образом, я очутился почти рядом с ним.

Блюм производит впечатление очень выдержанного и скромного человека, внимательно присматривающегося к быту и интересам солдат. Офицеры часто подзывают его к себе и расспрашивают его о чем-то. Блюм по-военному, точно он давно уже на службе, с руками вытянутыми по швам, отвечает: — Точно так, никак нет... — и ограничившись этими лаконическими ответами, возвращается обратно.

Особой симпатией к нему проникся фельдфебель Новоселов. Но здесь я должен сказать несколько слов об этом человеке. Принято считать, что фельдфебель — это нечто в роде изверга рода человеческого, что это шкура, кашник ¹ и т. д. Наш фельдфебель

¹ Шкурой солдаты называют сверхсрочно служащих унтер-офицеров, то-есть тех, которые по окончании действительной военной службы не возвращаются домой, а посвящают себя военной профессии и за 25—30 р. жалованья остаются в качестве взводных унтер-офицеров и подпрапорщиков. Т. к. все эти сверхслужащие заинтересованы в своем благополучии и в дальнейшем продвижении по службе, они настолько исполнительны, настолько предвосхищают все желания начальства, что готовы «содрать с солдата шкуру».

Слово кашник имеет другое происхождение. Довольствие солдата в полку организовано таким образом, что каждый батальон имеет свою кухню, обслуживание которой производится ротами по очереди: один раз в месяц каждая рота бывает так называемой «довольствующей»; через руки фельдфе-

Новоселов не походил ни на «шкуру», ни на «кашника». Когда двенадцатая рота бывала довольствующей, все мы питались гораздо лучше обычного, ибо Новоселов, по общему мнению, никогда ничего не урывал от солдатского котла.

Происходит Новоселов из бедной крестьянской семьи, Вятской губернии. На сверхсрочной службе он остался в надежде, что ему удастся сколотить кое-какие средства, которые позволят ему учиться и затем перейти на другую работу. Я часто видел, как Новоселов после служебных часов приходил в ротную канцелярию, обкладывал себя книгами и зубрил до глубокой ночи. Одни говорили, что он готовится в военное училище, другие — что он хочет сдать экзамен на первый классный чин и поступить на государственную службу, — но так или иначе это был тип человека не прибегающего к заискиванию перед начальством и всеми силами старающегося пробить себе дорогу к знанию. Солдаты относились к Новоселову с большим уважением и, когда, бывало, мы разшумимся, стоит только ему показаться из своей каморки при канцелярии, как сейчас же все немедленно утихает. Впрочем он никогда не злоупотреблял тем, что живет при роте, и старался во вне служебное время как

беля данной роты протекает закупка приварка — овощей, крупы и проч.—и он имеет возможность «заработать», покупая продукты по низким ценам, а в отчете показывая высокие.

Отсюда идет слово «кашник».

можно меньше показываться нам на глаза, чтобы не стеснять свободных солдатских часов.

Как-то Новоселов спросил меня, какое я имею образование. Я, грешен, нимало не смущаясь, ответил, что выдержал экстерном за пять классов гимназии.

— Так, ты образованный, Оленин, — сказал Новоселов, — ты, может быть, и немецкий язык знаешь?

— Немножко знаю.

— Может, ты и мне поможешь?

— С удовольствием.

После этого разговора он стал относиться ко мне чрезвычайно благожелательно. Не желая срамиться перед ним, я купил учебник немецкого языка и мне пришлось потратить не мало часов на то, чтобы научиться читать немецкие слова. Так начались наши занятия. Я показал Новоселову немецкий алфавит и объяснил, как надо пользоваться учебником, хотя сам я только накануне получал эти сведения от Блюма.

Однажды, во время «урока» я попросил Новоселова походатайствовать перед ротным командиром, чтобы мне разрешили жить на частной квартире, под тем предлогом, что я мол поступил добровольно на военную службу, желая пройти строевую подготовку и затем поступить в военное училище. Очевидно, Новоселов сумел убедить ротного — на следующий же день он торжественно заявил мне, что ротный командир не возражает против моей жизни на частной квартире и требует только, чтобы я в совершенстве усвоил отдавание чести.



ГЛАВА II

В УЧЕБНОЙ КОМАНДЕ

Февраль 1914 г.

...И так я в учебной команде. После роты, и особенно после моей жизни на частной квартире, впечатление совсем скверное.

Однако начну по порядку.

Учебная команда — это полковая школа строевой службы, где на протяжении восьми месяцев рядовой солдат готовится к унтер-офицерскому званию. Вот сюда-то неожиданно и командировали меня, Палеса и еще одного солдата нашей роты.

Нам, вместе с солдатами, присланными из других рот, пришлось испытать нечто вроде экзамена. Всем выдержавшим его предложили немедленно перебраться на жительство в команду, помещавшуюся в Сапуновском переулке.

Когда мы с Палесом явились туда, нас первым делом заставили таскать топчаны и набитые соломой

матрацы для себя, для обслуживающего персонала и для всего нашего начальства. В перерыве между работой мы остановились в дверях, чтобы покурить. К нам подошел отделенный ефрейтор Пастухов. Он прикинулся веселым малым и долго рассуждал на ту тему, что он хороший парень, что нужно только умеючи к нему подходить. В конце-концов он попросил у нас папирос и, таинственно оглядываясь по сторонам, сказал:

— Когда никого по близости нет, вы можете называть меня просто Василий Михайлович... Ну, в остальное время, конечно, иначе, как господин отделенный меня называть нельзя. Не забывайте.

Каким «хорошим парнем» он оказался на самом деле, я узнал только на масляницу.

Занятия были прерваны на четыре дня и я получил разрешение отлучиться на это время к себе, домой.

Возвратившись в воскресенье вечером, я направился к своей койке. Время было перед поверкой. Пастухов, проходя мимо меня, остановился, взял мою фуражку, лежавшую на койке, повернул, посмотрел внутрь и торжественно объявил:

— Наряд вне очереди.

— Что такое, за что, господин отделенный?

— За что? За то, что нет бумаги в фуражке.

— Какой бумаги?

— Мною отдано приказание, чтобы у каждого в фуражке лежала бумага.

— Господин отделенный, я был в отпуску, только что вернулся и об этом приказании еще не слышал.

— А, ты был в отпуску? Так ты прежде всего по возвращении должен был спросить, какие распоряжения были сделаны отделенным командиром. Не спросил — за это тебе еще один наряд.

После поверки, просматривая вывешенный список очередных уборщиков, я увидел свою фамилию в графе «вне очереди». Это значило, как я уже объяснил выше, что мне придется встать за несколько часов до общего подъема. И, действительно, на следующий день в четыре часа утра я был разбужен для уборки помещения.

Мне приказали мыть пол. Говорю дневальному:

— Дайте тряпок.

— Бери, где хочешь.

Я пытался искать, заглядывая во все углы, но ни тряпок, ни других предметов нужных для уборки не нашел. Снова пошел к дневальному и снова услышал грубый ответ, что дневального совершенно не касается, чем я буду убирать, но чтобы все было убрано.

Конечно, я ничего не мог сделать и дежурный доложил фельдфебелю, что, «поднятый для уборки рядовой Оленин ничего не сделал и, очевидно, не сделал нарочно». Фельдфебель вызвал меня к себе, накричал и пообещал доложить начальнику команды. Свое обещание он выполнил честно — в обеденный перерыв я уже стоял перед начальником ко-

манды, капитаном Ильиным, и тот, свирепо отчитывая меня, грозил выбросить вон из команды и в заключение сообщил, что пока дает мне десять часов под ружье.

Что значит стоять под ружьем?.. Чтобы почувствовать как следует, это нужно пережить самому. В то время, как остальные солдаты после занятий обедают и пользуются двух-часовым отдыхом, наказанного заставляют надеть полное походное снаряжение, и если своих вещей недостаточно, то вещевой мешок докладывают какими-нибудь тяжелыми предметами, чтобы весил он не менее тридцати фунтов. И вот, надеваешь этот мешок, затем берешь винтовку, скидываешь ее на плечи и стоишь неподвижно, как по команде «смирно», не сходя с места и не шевелясь. Простояв таким образом два часа, измученный, разбитый, ты сразу же должен идти на занятия.

За один день я имел удовольствие получить наряд вне очереди, встать в четыре часа утра, а с двух до четырех дня стоять под ружьем. Это должно было продолжаться непрерывно пять дней!.. Вот что значит командир отделения Пастухов, вот что значит «Василий Михайлович, когда никого вокруг нет»...

Однако, скоро я оказался не одинок. В таком же положении очутился еще Миронов, командированный в учебную команду из девятой роты.

Миронов окончил университет, имел звание помощника присяжного поверенного. За год до поступления на военную службу, он был замечен в революционной

деятельности, выслан в Казанскую губернию и по окончании ссылки — призван в армию. Так как ему не было дано свидетельство о политической благонадежности, он нес службу наряду с нами, не вольноопределяющимся, а рядовым солдатом.

Однажды мне вместе с Мироновым пришлось дневать у ворот учебной команды. Ночь была холодная, морозило. Как раз напротив ворот помещалось купеческое собрание, где обычно до глубокой ночи происходили купеческие вечеринки. Мы смотрели на ярко освещенные окна и мерзли немилосердно. Вдруг к нам подходит дворник этого собрания:

— Холодно, братцы!

— Да, неважно, — отвечает Миронов.

— А, что, согреться бы?

— Да как согреешься, отсюда не уйдешь.

— Если есть деньги — принесу.

— Деньги есть.

— Ну давай.

Через десять минут дворник явился с полбутылкой, с ломтем хлеба и огурцом. Мы выпили и действительно согрелись, но не надолго. Предложили дворнику сходить еще раз. Тот согласился. Но как раз в ту минуту, когда он вернулся со второй порцией, показался дежурный с новой сменой дневальных. Увидев дворника и водку он, конечно, доложил обо всем этом начальнику команды, и в результате Ильин «наградил» Миронова десятью часами под винтовку.

У меня оказался товарищ. Стоять стало веселее.

Чтобы охарактеризовать поточнее нравы, царившие у нас, опишу еще одного своего начальника, взводного унтер-офицера Лобанова.

Он окончил учебную команду год тому назад и получил «две лычки» — то-есть две нашивки на погонах, обозначающие его унтер-офицерское достоинство. Стараясь выслужиться, он, очевидно, съумел угодить кому следует и его оставили в команде.

Вид у этого Лобанова совершенно недоступный. Он ходит с высоко задранной головой и не говорит, а милостиво роняет слова сквозь зубы. Говорить с ним можно только с разрешения отделенного.

Однажды мне нужно было обратиться к нему с каким-то вопросом. Получив разрешение на это у отделенного, я подошел было к Лобанову, но вдруг услышал адресованное ко мне:

— Кругом!

Ничего не понимая, я остановился.

— Кругом! — еще раз крикнул Лобанов.

Я повернулся.

— Шагом марш!

Я послушно зашагал прочь, но сразу же услышал новую команду:

— Стой!

Пришлось остановиться.

— Кругом! — скомандовал Лобанов и, когда я опять повернулся лицом к нему, добавил: — Шагом марш.

Подпустив меня к себе на несколько шагов, он скомандовал: — Стой, — и спросил:

— Понял?

— Никак нет, ничего не понимаю, господин взводный.

— Так вот знай — когдаходишь к начальнику, то надо за четыре шага взять под козырек, а за два шага остановиться. Теперь понятно?

— Так точно.

— Два наряда вне очереди.

— Слушаюсь.

Апрель

В ожидании перехода в лагерь, мы продолжали заниматься — главным образом, подготовительными к стрельбе упражнениями и гусиным шагом.

Гусиный шаг — представляет из себя следующее.

Взвод в полном походном снаряжении выводят на двор и выстраивают в затылок друг к другу. По команде «марш», солдаты вытягивают вперед, до отказа, левую ногу и ждут следующей команды. После слов отделенного командира «делай два», левая нога ставится на землю; после слов «делай три», правая — приставляется к левой. Поднятую ногу приходится иногда держать целую минуту, причем нередко бывает, что некоторые из нас не в состоянии выдержать этой пытки и ставят ногу на землю раньше, чем следует команда. Само-собой разумеется, что бед-

нягу в этом случае ожидает наряд вне очереди, а то и два.

Следующий час занятий обычно посвящается строевым движениям и стойке.

Взвод, построенный в две шеренги, выравнивается как по нитке с точностью до миллиметра. По команде «смирно» все замирают на месте — не слышно даже дыхания — и остаются в таком положении. Затем начинаются ружейные приемы — «на плечо», «на караул». В течение часа мы не сходим с места и это настолько утомительно, настолько действует на нас, что на деревянном полу казармы остаются следы — пот проникает сквозь подошвы сапог и оставляет влажные отпечатки.

Наиболее приятны для нас занятия гимнастикой, на которую ежедневно отводится также около часа. После утреннего чая мы входим в специальный гимнастический зал и делаем различные упражнения под командой одного из младших офицеров. Иногда к нам заходит в это время капитан Ильин. Он молча смотрит на нас и, если кто-нибудь ошибется, брезгливо произносит:

— Болван.

После такой реплики Ильин, обычно, уходит в фельдфебельскую комнату.

Интересна внешность этого капитана: армянский тип лица с большим мясистым носом; мутные глаза на выкате, неподвижно уставлены в одну точку; одет он постоянно в теплую шинель, на плечах

башлык — и непременно в галошах и кожаных перчатках, при любой температуре. Я не знаю, видел ли хоть кто-нибудь, чтобы он в жилом помещении, где температура достигала четырнадцати градусов тепла, хотя бы раз разделся. Говорили, что он никогда не раздевается, не снимает галош и ходит непременно в кожаных перчатках потому, что пуще всего на свете боится заразиться сифилисом.

Май

В начале мая нас на один день распустили по ротам, чтобы мы могли принять участие в предстоящем смотре, на котором должен был присутствовать командир бригады.

В этот день наша команда была выведена на двор и мы в присутствии капитана Ильина с утра до вечера занимались колкой чучел. Среди офицерства разнесся слух, что командир бригады особенно интересуется тем, насколько умеют солдаты вести штыковой бой, и поэтому у нас в команде и в ротах усиленно занялись этими приемами, чтобы не ударить лицом в грязь перед начальством.

Намаявшись за целый день, мы с Палесом под вечер отправились к себе в роту. Там подготовка к предстоящему смотру захватила всех. Солдаты сидели на своих койках, начищая медные пуговицы на мундирах, чистили сапоги и чинили одежду, чтобы на следующий день во всей красе предстать перед

бригадным начальством. То, к чему в течение года относились равнодушно или на что совсем не обращалось внимания — старались наверстать в течение одного этого дня, и фельдфебель, кажется, не ложился всю ночь, следя и проверяя все ли в порядке.

Смотр был назначен в девять часов утра, на лагерной площади в шести-семи верстах от казармы. Нас построили по правилам инспекторских смотров. Фельдфебель обошел строй, поправляя почти каждого солдата и делая свои замечания. Затем появился младший офицер и повторил то же, что делал только что фельдфебель. В половине девятого приехал ротный командир и в свою очередь произвел соответствующие поправки. За ротным командиром мы увидели батальонного — он проверил построение всего батальона... Наконец, без четверти девять, появился командир полка, которого мне пришлось увидеть впервые за полгода военной службы... А ровно в девять часов раздалась команда:

— Смирно! Равнение направо!

Заиграла музыка, все роты взяли на караул.

Командир бригады, генерал, уже старик, мелкими старческими шажками обходили роту за ротой, пристально всматриваясь в лица солдат. Покончив с этим, он сказал что-то командиру полка и тот вызвал к себе батальонных командиров. После недолгого совещания начался смотр. Каждый батальон по очереди демонстрировал свои достижения, но того, к чему мы так рьяно готовились накануне — приемов шты-

кового боя — бригадный командир как раз и не спросил. Он интересовался гимнастикой, уменьем рассыпаться в цепь, стрелковыми упражнениями, а ружейные приемы, всяческие повороты и вздвоивание рядов, то-есть то, что занимало большую часть нашего времени, так и осталось без всякой оценки.

* * *

Через несколько дней после смотра мы переехали в лагерь.

Живем в палатках, хотя по ночам еще холодно. Каждая палатка рассчитана на восемь человек. Вместо топчанов здесь уже нары. Лагерь тщательно подметен, вычищен, дорожки посыпаны песком, — даже разбит небольшой цветник. Впрочем все это только у нас, в учебной команде. В ротах все устроено проще. Кроме того, ротный участок значительно удобнее, чем наш — он расположен в тенистом лесу, мы же на опушке леса, почти на открытом месте. Участок нам отведен рядом с полковой канцелярией и вся жизнь команды проходит на глазах командира полка.

Лагерные занятия сильно отличаются от зимних.

Утром, после чая, вся наша команда направляется к гимнастическому городку. Начинаем с прыжков по искусственно нарытым кочкам, затем с разбега перепрыгиваем через рвы и канавы, одолеваем заборы, и кончаем так называемой «печкой». Это вы-

сокая насыпь, вроде кургана; взбираться на нее приходится бегом по отлогому подъему под углом градусов в сорок пять. Взобравшись на «печку» нужно с разбега приостановиться, сделать полуприседание и прыгать с обрыва в глубокую яму, на дне которой — чтобы не ушибиться — в изобилии насыпаны опилки. С этой печкой бывают постоянные недоразумения. Когда вбегаешь на нее и перед глазами неожиданно открывается обрыв, — создается впечатление очень большой высоты и как-то невольно останавливаешься, не решаясь сделать прыжок. Приходилось привыкать постепенно и многие из нас тратили на это свои свободные часы.

После гимнастики мы возвращаемся в палатки, надеваем снаряжение и выходим на лагерный плац.

Первый час занятий уходит на стрелковые упражнения. Затем изучение службы по полевому уставу, составление дозоров и полевых караулов, движение в цепи, применение к местности и т. д. Все это много интересней бессмысленных зимних стоек, хотя утомляемся мы и не меньше чем зимою.

* * *

На днях у меня произошла новая стычка с Пастуховым.

Он подошел ко мне, попросил папироску, заговорил о чем-то и вдруг ни с того, ни с сего потребовал, чтобы я встал перед ним «как полагается» —

то-есть по военному, руки по швам. Я'озлился, но сдержался и молча отошел. Это довело его до бешенства— он стал кричать, ругаться, топтать ногами — и кончилось тем, что я в свою очередь назвал его сволочью. На мое счастье свидетелей этого не было и я мог от своего выражения отказаться. Но все же Пастухов доложил о происшедшем фельдфебелю, фельдфебель — начальнику команды,— и мне закатали двадцать часов под ружье.

* * *

Блюм сдал экзамен на звание унтер-офицера. Сегодня он забирает свои вещи и переезжает на частную квартиру. Очевидно, завтра или послезавтра будет приказ о перемещении его на должность зауряд-врача. Хорошо, если бы Блюма назначили для работ в наш околоток! Все-таки, в случае чего, можно будет пойти к нему с просьбой, чтобы дал освобождение от занятий на день-два.

Июль

Мне так надоела солдатская жизнь и я так устал от стояния под ружьем, что написал брату письмо — попросил, чтобы он телеграммой вызвал меня домой. И вот в воскресенье рано утром почтальон принес мне телеграмму; в ней было написано: «Приезжай на несколько дней, положение серьезное». Сделав

испуганное лицо я пошел к фельдфебелю — показал телеграмму и сказал, что прошу отпуск на два-три дня. Фельдфебель поверил и мы вместе с ним отправились к начальнику команды, капитану Ильину.

Прочитав телеграмму, Ильин неподвижным взором уставился на меня.

— Врешь, сукин сын, я двадцать пять лет служу на военной службе и такие телеграммы каждый день получаю, — сказал он наконец. — Проверю — сгною, в Сибирь сошлю!

Я ответил, что сам не знаю в чем дело и что если ничего не случилось, я тотчас вернусь обратно; если же стряслась какая-нибудь беда — буду просить о продлении отпуска.

— Ладно, поезжай, — ответил Ильин, — а я проверю... Если соврал, пеняй на себя.

Дома меня не ждали и встретили с радостным изумлением. Три дня пролетели, как миг — один день я пробыл у родителей, остальные два — на хуторе у брата.

Когда наступило время отъезда, мне так не хотелось возвращаться в Тулу, что я решил еще раз надуть капитана и послал на его имя телеграмму с просьбой о продлении отпуска еще на три дня, т. к. «положение серьезное».

Телеграмму я послал с оплаченным ответом, но никакого ответа не было. Все же я решил остаться дома еще на сутки.

Когда на следующий день я приехал в Тулу, товарищи по команде рассказали мне, что Ильин свиреп и что фельдфебель уже справлялся, не приехал ли Оленин.

— Ну, брат, — говорили они, — должно быть тебе здорово влетит!

Начались занятия. Фельдфебель смотрел на меня, но ничего не говорил. Отделенный ехидно улыбался и тоже молчал.

Наконец пришел Ильин — несмотря на жару в пальто, галошах и перчатках. Подождав пока кончатся занятия, он приказал фельдфебелю построить команду.

Построились:

Ильин остановился перед строем напротив меня и начал:

— Бывают прохвосты просто, а бывают прохвосты особенные. Один солдат пришел ко мне с просьбой дать отпуск на три дня — показывал телеграмму из дому, что там неблагополучно. Я разрешил, поверил — чувствовал, что врет, а поверил. И что же? Проходят три дня, а этот прохвост вместо того, чтобы явиться во-время, шлет телеграмму и не фельдфебелю, а прямо капитану, начальнику команды! Приносят телеграмму, я думаю, что-нибудь случилось, смотрю — Оленин! Скажите, пожалуйста, в телеграфной переписке с начальником команды состоит!.. Что с этим прохвостом делать? Под суд отдать?

Он стал ругаться самой отборной бранью. Я молчал. Когда ругань его истощилась, он обратился ко мне:

— Ты думаешь, сволочь, что я тебя в роту отправлю? Нет, мерзавец, я тебя продержу в учебной команде до самого конца и потом не дам тебе аттестата за твои проделки... А, пока, — обратился он к фельдфебелю, — дать ему двадцать часов под ружье.

Итак — двадцать часов да десять старых. На пятнадцать суток обеспечен.

* * *

В газетах появилось сообщение о возможности войны с немцами. Офицеры почти не бывают на занятиях и мы в полной власти взводных и отделенных.

* * *

Был у Блюма — объяснил ему, что вообще здоров, но хочу получить освобождение от занятий и «ружья» хоть на несколько дней. Он, освидетельствовав меня, написал в команду:

«Освободить Оленина на четыре дня, после чего опять прислать в околоток».

Получив эту записку я ушел не сразу и долго говорил с Блюмом о слухах насчет войны.

Он считает положение серьезным. Убийство крон-принца в Сараеве, по его мнению, делает войну очень возможной. По секрету он сообщил мне, что пулеметную команду, отправившуюся несколько дней тому назад на окружной полигон на учебную стрельбу, по телеграфу приказали вернуть в полк.

Это — уже подготовка к мобилизации.

ГЛАВА III

МОБИЛИЗАЦИЯ

18 июля

Говорят, на-днях будет объявлена война Австрии и Германии.

Весь полк в необычайном возбуждении. Настроение у всех приподнятое — да и не мудрено: события надвигаются.

Вчера мы были разбужены в пять часов утра.

Сзади наших палаток около штаба в это время почти в полном составе собралось полковое офицерство. Приехал генерал — директор оружейного завода — и бригадный командир. Все это до крайности возбудило любопытство солдат. Мне удалось незаметно пробраться к Воропаеву. Тот рассказал, что в час ночи получена была телеграмма из штаба округа и что сейчас полковой штаб уже рассылает секретные мобилизационные пакеты по всем ротам и командам.

Пишется приказ о срочном приведении полка в состояние военного времени и уже подписан приказ о роспуске учебной команды по ротам, чтобы каждый из нас мог отправиться вместе со своими ротами на фронт; кадр же учебной команды — все эти Пастуховы, Цветковы, Лобановы, Ильины — остается для формирования запасного батальона. На мой вопрос, когда и куда будет отправлен полк, Воропаев ответил, что отправка будет произведена после прибытия запасных, дней через пять; что же касается направления, то это держится в строгом секрете; пойдем к западной границе, но на какой фронт — к австрийцам или немцам — пока неизвестно. Об этом последует дополнительное распоряжение уже в пути.

Поговорив с Воропаевым, я вернулся в свою палатку. В восемь часов фельдфебель, построив команду, прочитал приказ, о котором говорил Воропаев. Затем последовало распоряжение собирать свои вещи и приготовить имущество команды для переезда на зимние квартиры.

После чая я собрал свой сундучек и, не ожидая других, тронулся к своей роте. На задней линейке неожиданно столкнулся с фельдфебелем Цветковым.

— Ты куда? — обратился он ко мне.

— В роту, господин фельдфебель.

— Сначала нужно отправить вещи в команду, а потом идти в роту.

— В команду вещи отправят те, кто остается в тылу, а не те, кто идет на фронт, — дерзко ответил я.

Фельдфебель уничтожающим взглядом посмотрел на меня и повторил свое распоряжение.

Вместо ответа я круто повернулся и направился в роту. В догонку посыпались крики и брань, но я, посмеиваясь над его руганью, спокойно продолжал свой путь.

В роте я явился фельдфебелю Новоселову, отрапоровал, что прибыл по случаю отпуска команды. Он ласково поговорил со мной, и так как я теперь почти что окончил учебную команду, а в роте нехватает унтер-офицеров, пообещал доложить ротному командиру просьбу, чтобы мне дали отделение или даже взвод.

Среди бывших моих товарищей по роте царило то же возбуждение, что и в учебной команде. Часть солдат сегодня же отправлялась по уездам для приемки запасных и мобилизованных лошадей и повозок. Другие — преимущественно из унтер-офицеров и ефрейторов — были назначены во вспомогательные части — в транспорты, запасные батальоны и т. п.; они были очень довольны, что не идут на передовые позиции, а будут служить в тыловых учреждениях, и весело собирались в путь.

Все остальные разговаривали между собою исключительно о предстоящей отправке на войну.

Холостые парни, не связанные в деревне с семьей, относились к этому спокойно, даже шутливо. Что же касается семейных, то настроение их было подавленное. Слышались отдельные голоса, что война дескать ни-

чего нам не даст, что немцы нас поколотят, а главное, что для солдата-мужика нет никакого смысла воевать из-за каких-то обиженных сербов.

Общая сутолока, вызванная мобилизацией, разговоры и споры, заботы о своих вещах, полученных из ротных цейхгаузов,— все это как-то отвлекало наши мысли от того, что произошло и что предстоит нам впереди.

* * *

Среди дня к нам зашел наш ротный командир.

Надо сказать, что за время моего пребывания в учебной команде, в двенадцатой роте произошли перемены. Бывший ротный, капитан Белов, получил назначение на должность помощника командира батальона, а на его место прислали капитана Андреева. Подвижной, с постоянными шутками и раскатистым смехом, он производил с первого взгляда благоприятное впечатление — но только с первого. Фельдфебель, сопровождавший его, проходя мимо нашей палатки, указал на меня, сказав, что я только что прибыл из учебной команды и вообще, дескать, отличаюсь сметливостью и способностями. Андреев на ходу задал несколько вопросов — о моем происхождении, семейности и т. п. — и сразу же предложил фельдфебелю временно отдать мне под команду второй взвод.

Это назначение смутило меня, — в учебной команде мы еще не успели пройти всей программы и были готовы к исполнению обязанностей начальника поле-

вого караула, не выше. Однако, отказаться было нельзя — заявить о своем неумении командовать взводом было стыдно, и я принял назначение молча — тотчас же отправился во второй взвод, чтобы получить список солдат и предметов вооружения.

Таким образом, я стал исполнять обязанности взводного унтер-офицера, будучи еще по сути дела почти молодым солдатом.

19 июля

Сегодня все роты получили из полкового цейхгауза походное имущество: новые винтовки на полный штат военного времени, то-есть на 260 человек (в мирное время рота едва достигала 100 человек); снаряжение — патронные сумки, котелки, фляжки, новые вещевые мешки и т. д.; обмундирование — гимнастерки из сукна защитного цвета, вместо мундиров, которые носились до мобилизации, прекрасные серые шинели и сапоги. Старым служащим все это было роздано немедленно, остатки же сложили в палатку и поставили дневального, в ожидании прибытия запасных, которых придется вооружать и одевать, как только они придут.

Вечером, уловив свободную минутку, я пошел к Блюму — узнать нет ли писем для меня, поделиться с ним своими мыслями и расспросить, какие сведения имеет он из штаба полка.

У Блюма собралась вся его семья и много родствен-

ников. За чаем говорили только о войне. По мнению Блюма война вряд ли продолжится более трех-четырёх месяцев; за это время или мы успеем разгромить или разгромят нас — скорее последнее. Настроение офицерства, с которым он постоянно сталкивался с тех пор, как стал зауряд-врачем, самое растерянное. Все эти «герои» сейчас присмирели, притихли и не имеют никакого желания уезжать из Тулы. Блюм назвал многих офицеров, которые в течение вчерашнего и сегодняшнего дня заходили к нему с жалобами на свои существующие и несуществующие болезни, доказывая, что каждому из них следовало бы остаться в запасном батальоне.

Кроме того, Блюм рассказал, что командир полка Тежельников, который за несколько дней до мобилизации прощался с полком, собираясь уходить в запас, остался на военной службе и получил назначение в генеральный штаб. К нам же ожидается со дня на день новый командир Музеус, командовавший полком где-то в Сибири. Музеус, говорил Блюм, вышел из простых людей и испытал на собственной шкуре все прелести военной службы. Во время русско-японской войны он был в числе осажденных в крепости Порт-Артур, имеет большие боевые заслуги и в боевой обстановке работать с ним будет лучше, чем с генштабистом Тежельниковым.

Писем для меня у Блюма не оказалось; просидев часа полтора, я простился с ним и его семьей, обещая перед отъездом заглянуть ещё раз.

Завтра наш полк должен грузиться в вагоны и ехать. Сначала, ночью, отправляется первый батальон, затем, утром — второй и вечером — третий.

Солдаты мрачно сосредоточены. Понаехавшие в Тулу родственники и родные еще пуще расстраивают их своими разговорами.

Ко мне приехал брат Василий, привез все, что мог мне привезти на дорогу — пять рублей. Добрую половину мы с ним израсходовали на посещение фотографии, чтобы сняться на память. По совести говоря, у меня не было желания расходовать деньги, но брат настоял на этом: ему хотелось, чтобы я оставил на память хоть карточку, ибо, чорт знает, удастся мне вернуться или нет.

Брат пробыл в Туле только одни сутки.

* * *

Недавно мне пришлось быть дежурным по лагерной полковой кухне и я лишний раз увидел, как сильно отразилось объявление мобилизации на жизни полка. На кухню за обедом приходили только немногие и большая часть приготовленной пищи пропадала. Это отлично учли артельщики и мне пришлось вздуть одного из них, когда он пытался чуть ли не половину мяса и других продуктов спровадить на базар.

Был я в последние дни и в гарнизонном карауле — в качестве караульного начальника. До сих пор в

карауле мне не приходилось бывать ни часовым, ни разводящим, а тут сразу вдруг мне в подчинение попало несколько разводящих и десятка три часовых.

Расположившись в гарнизонной караулке за Калужской заставой, мы, чтобы не заснуть, вскипятили чай. В невеселых разговорах о войне, о фронте, время прошло часов до двух ночи. Затем я разрешил части солдат лечь отдыхать, а сам долго сидел за столом, думая об опасностях, которые ждут меня впереди — и незаметно для самого себя свалился на деревянную лавку и заснул.

Проснувшись часов в шесть утра и увидев, что на караульном листе сделана надпись о проверке караула прапорщиком Поповым, я взволновался. Значит, был дежурный офицер по полку, а караульный начальник спал! По военным законам за этот проступок провинившийся карается военным судом и попадает, по крайней мере, на несколько лет в дисциплинарный батальон. Однако, рассматривая дальнейшие отметки дежурного офицера, я с облегчением увидел, что мой караул найден в порядке, что все были налицо и никто не спал. Ничего не понимая, я стал расспрашивать товарищей, как происходила проверка. Петров, старый солдат одиннадцатой роты, смеясь рассказал, что прапорщик только на днях произведен в этот чин из вольноопределяющихся, никогда еще не был дежурным и порядков по службе, очевидно, совсем не знает. Придя в караул, он спросил у не спавшего Петрова, кто караульный начальник. Петров ответил:

— Я.

— А почему спят люди? — спросил прапорщик.

Петров не смущаясь заявил, что это ночная смена, которой по уставу полагается отдыхать, а так как у меня на погонах никаких нашивок еще нет, то Попов поверил.

Если бы на его месте оказался кадровый офицер, знакомый с гарнизонной службой, мне, конечно, влипло бы здорово — особенно теперь, когда с объявлением мобилизации вступают в силу законы военного времени.

* * *

Недавно ко мне заходили ребята из полковой канцелярии — Воропаев, Звягин и Капуев. Воропаев сбежал в офицерское собрание за водкой (в городе водки достать уже нельзя) и за выпивкой писаря рассказали о происходящей под шумок распродаже полкового имущества.

Звягин и Капуев работают в хозяйственной части и им известно, что постепенно все имущество из ротных и полковых цейхгаузов переходит на толкучку, где его за бесценок скупают торговцы Жигалинской улицы.

* * *

21 июля мне пришлось побывать на ряжском вокзале для приема только что мобилизованных и прибывающих в полк запасных.

Я уже собирался отправляться туда, когда дежурный офицер сообщил мне, что получены сведения, будто эшелон, принимать который я отправляюсь, по дороге разбил винную лавку — запасные солдаты перепились и много водки имеют с собою; поэтому моя команда должна, если понадобится, принять решительные меры к усмирению пьяных.

На вокзале выяснилось, что поезда с запасными еще нет.

Дежурный по станции на мой вопрос, когда придет эшелон, ответил:

— Для пьяных эшелонов расписаний нет, могут быть через полчаса, а может и до завтра не будут.

Однако через час поезд прибыл.

Из вагонов неслись звуки гармоники и пьяные песни. Как только поезд остановился, на платформу высыпали прибывшие запасные; многие начали тут же отплясывать трепака. Я распределил команду вдоль поезда и предложил выйти ко мне на платформу всем, кто имеет унтер-офицерское звание. Вышло около семидесяти человек. Я объявил им, что с момента прибытия в Тулу, они находятся на действительной военной службе и обязаны принять все меры к тому, чтобы спокойно довести остальных до лагеря. Водка, захваченная с собой, должна быть немедленно уничтожена или спрятана так, чтобы не могла попасться на глаза офицерам.

Мое предложение было встречено одобрительно, — рассыпавшись по вагонам, бывшие унтера заставили

всех, кто имел с собою водку, глубоко запрятать ее в свои мешки.

Не обошлось, однако, и без эксцессов.

Несколько запасных, пьяных вдребезги, обнявшись шли по платформе, громко горланя какую-то песню. Дойдя до меня, эта группа остановилась и один из них, тыча в мою сторону пальцем, произнес:

— А, солдат, с ружьем встречать запасных героев, идущих на войну? Да мы тебя, так-растак...

Они разразились площадной бранью и бросились ко мне, пытаясь отнять винтовку.

Я взял винтовку на руку и пригрозил, что если они не перестанут горланить, то я их немедленно арестую и под конвоем отправлю на полковую гауптвахту. Не знаю успокоило бы это их или нет, тем более, что сзади напирало уже несколько человек с пьяными возгласами: — Бей их, сукиных детей! — но пришедшие со мной солдаты, видя, что дело может окончиться скверно, сделали несколько выстрелов вверх и это уgomонило пьяных.

Потребовалось не менее часа, чтобы из бесформенной пьяной толпы сделать нечто похожее на воинскую команду.

Наконец, мы тронулись по направлению к лагерю.

Пока двигались по пустынным окраинам все было спокойно. Но когда мы перешли мост через Упу и вступили на Жигалинскую улицу, где сосредоточен центр торговли обувью и готовым платьем, порядок

начал нарушаться. Мобилизованные поперли с мостовой на тротуар, ближе к магазинам. Команда из кадровых солдат, подобно конвою окружавшая запасных, пыталась сдерживать их, загоняя всякого вырвавшегося из строя обратно на мостовую. Первое время это помогало. Однако, когда мы проходили мимо большого магазина с зеркальными окнами, из ряда запасных выскочили три рослых бородача — и не успели мои конвоиры моргнуть глазом, как раздался треск и звон разбитых стекол. Били прямо кулаками и руки у буйанов оказались настолько пораженными, что это помешало им проникнуть в магазин. Служащие магазина быстро начали закрывать двери, спускать ставни на окнах. Поднялся невыразимый шум и гам. Сдерживать толпу, еще не отрезвевшую от выпитой водки, становилось почти невозможным; сигнал к нападению был подан и не прошло и пяти минут, как добрая половина всех магазинов Жигалинской улицы оказалась с выбитыми окнами; многие врывались в магазины и тащили оттуда товар.

Положение становилось серьезным.

Я чувствовал, что если сейчас же не принять решительных мер — мне не довести запасных до лагеря и значительная часть города подвергнется, если не разрушению, то погрому. Со всей силой, на какую способны были легкие, я закричал:

— Обратно, в строй, стрелять буду!

Поддействовал этот окрик лишь на немногих — они начали медленно и неохотно возвращаться с тротуара

на мостовую. Большинство же не обратило на меня никакого внимания. Тогда, собрав около себя группу солдат, я приказал сделать несколько выстрелов вверх. Звуки выстрелов, как и давеча, подействовали отрезвляюще на разошедшуюся ораву и вернули ее к порядку.

Подожли к лагерю. Я немедленно доложил дежурному офицеру о случившемся. Тот вызвал военную полицию, чтобы окружить запасных. Явились конные ординарцы. Офицер произнес целую речь — очень мало, впрочем, внушительную. Запасные выслушали ее равнодушно; только откуда-то сзади слышались негромкие выкрики:

— Чего орешь... погоди, будешь на фронте, мы тебе покажем!

— Это тебе не мирное время...

Офицер приказал конвоирам подъехать ближе и обнажить шашки. Толпа утихла. Но не успел дежурный отойти к своей палатке, как со стороны запасных раздались новые крики:

— Давай есть!

— Голодом морят!

Дежурный распорядился, чтобы выдали обед. Однако оказалось, что ничего не приготовлено — о числе прибывающих в этот день запасных не было сделано своевременных сообщений. Это вызвало новые крики. Пришлось вызвать усиленные караулы. Только при помощи их, полицейской команды и ординарцев удалось распределить мобилизованных по ротам.

Всю ночь по лагерям неслись пьяные песни. Зато утром наступила реакция: отрезвевших запасных одели в военное обмундирование, превратив их, таким образом, в солдат — и стали они тише воды, ниже травы.

В мой взвод попало около двадцати человек.

25 июля

Я думал, что мне удастся вести свои записки аккуратно, однако, вчерашний день сложился так, что взяться за тетрадку не пришлось.

Меня с утра вызвал Новоселов — попросил, чтобы я отправился в полковой склад сдавать остатки ротного имущества. Три подводы были полностью нагружены вещами, главным образом обмундированием и обувью, и мы отправились в путь. Дорога к вещевому цейхгаузу лежала через Жигалинскую улицу, непосредственно к которой примыкает толкучка, то-есть тульский базар. На толкучке стояла действительно настоящая толчея. Вместо обычных покупателей и продавцов вся площадь была усеяна скупщиками и солдатами, распродававшими свои вещи. Скупались эти вещи за бесценок — сапоги, например, совсем новые, обходившиеся перед объявлением мобилизации не дешевле семи рублей, шли рубля за два, за два с полтиной. Тут же я увидел нескольких каптенармусов, которые продавали, как это было совершенно очевидно, не собственные вещи, а ротное имущество.

При виде всего этого я невольно задумался... Вот мне поручено сопровождать три повозки с вещами — а где же остальное имущество ротного цейхгауза, в котором находилось и парадное обмундирование солдат, и ротная экономия, сделанная в течение последних лет после Русско-Японской войны? Ведь рота уходит на фронт, никаких запасов брать с собою не разрешено, все лишнее ликвидируется... Куда же девалось это «лишнее»? Неужели правы писаря, рассказывавшие мне недавно о злоупотреблениях и казнокрадствах?

Подъехав к складу, мы увидели много повозок от других рот. Все торопились и старались как можно скорее сдать обмундирование полковому каптенармусу, чтобы отделаться — у каждого были свои дела, а времени до отправки оставалось мало. Дошла очередь и до нас. Полковой каптенармус предложил свалить все привезенное нами в общую кучу, и когда я потребовал, чтобы мне дали расписку, он ответил:

— Если хочешь получить расписку, жди пока я закончу всю приемку. Может быть я сегодня и не успею.

Это меня совсем не устраивало. Увидев, что другие не берут расписок, я тоже решил разгрузить повозку без всякого счета.

Только на обратном пути, снова проезжая мимо толкучки и опять увидев каптенармусов и фельдфебелей в роли продавцов, я вспомнил свои недавние позрения и сообразил, что поступил не так, как надо:

с имуществом полученным без расписки каптенармусы и интенданты, конечно, могли расправляться как им только заблагорассудится.

* * *

Неожиданно вернулся обратно из Калуги подпорщик Бартыш. Я передал ему свой взвод и опять превратился в рядового солдата.

В один день с Бартышом приехал новый командир полка, полковник Музеус, герой русско-японской войны.

Чтобы достойно встретить его, был назначен парад. После обычной возни с перестроениями, командами и т. п. мы увидели подходившего к нам человека высокого роста, с полковничьими погонами на шинели. Он несколько прихрамывал и опирался при ходьбе на толстую трость. Проходя мимо батальонов, он здоровался с каждой ротой в отдельности. Затем он подозвал к себе батальонных командиров и, поговорив с ними в течение нескольких минут, направился вместе с ними к разбитой перед строем полка походной церковной палатке. Навстречу из палатки вышел наш полковой поп, отец Николай. Раздалась команда: — На молитву, шапки долой.

Начался молебен. После молебна поп произнес длинную проповедь, слова которой доносились до нас смутно — да и не было никакой охоты вслушиваться в них. Вслед за этим начал говорить Музеус.

— Братцы, — говорил он, — исконный враг земли русской, немец, пытается закабалить нашу страну. Немецкое засилие до сих пор было настолько сильно, что у нас не было почти ни одной помещичьей экономики, в которой не сидел бы управителем немец, причинявший большие неприятности населению. Но теперь тевтонскому засилию — конец! Эта война является великой освободительной войной. Она объединит великие славянские племена, которым суждено историей стать гегемоном мира. Русская армия, славная своими победами во все времена и войны, и на этот раз с честью вынесет ниспосланное господом богом испытание и сумеет покорить врага и супостата. Славные тульские орлы выполняют возложенную на них царем и отечеством задачу. Вместе со всей нашей победоносной армией они в короткий срок разобьют немца и установят на земле мир. Наш великий государь не хотел войны, но коль скоро дерзкий враг бросил вызов, мы ополчимся на защиту веры, царя и отечества. Да здравствует братство великих славянских народов!..

Музеус говорил громким сильным голосом и никто из нас не пропустил ни одного слова из его речи. Однако, по лицам солдат — особенно по лицам только что прибывших запасных — можно было заметить, что призыв к быстрой победе над немцами не встретил сочувствия в солдатских сердцах. Все глядели мрачно, напряженно и выслушали речь как необходимость.

Едва успел Музеус окончить свою речь, как со стороны города показалась огромная манифестация.

Шла толпа в несколько тысяч человек. Церковные хоругви блестили на солнце. Впереди шли в сверкающих золотых одеждах попы, за ними губернские чиновники и начальство. Манифестанты пели «Боже, царя храни» и «Спаси, господи, люди твоя».

Приблизившись к нам, манифестация остановилась.

От толпы отделилось несколько человек — представители различных общественных групп города.

Первым выступил какой-то протоиерей. Елейным голосом произнес он слащавую речь о том, что духовенство приветствует в лице нашего полка русское героическое воинство, призванное к одержанию победы над врагами. Затем говорил представитель купечества, увешанный медалями, и какой-то интеллигент, отрекомендовавшийся представителем рабочих и заявивший, что рабочие и служащие тульского оружейного и патронного заводов напрягут все свои силы, чтобы дать армии необходимое оружие для победы над врагом... Ораторы сменяли друг друга, и все это — парад, молебен и речи — заняло больше двух часов и надоело до-смерти.

Вечером, перед поверкой, желая посмотреть, что делается на улицах, мы с Воропаевым пошли из лагеря в город.

На каждом шагу попадались солдаты — и нам бросилась в глаза та неохота, с которой они отдавали честь встречающимся офицерам. При встрече

с ними солдаты, особенно запасные, стараются сделать вид, что они их не заметили, или свертывают куда-нибудь в сторону. Офицеры относятся к этому довольно спокойно, очевидно, понимая общее настроение.

Когда мы подошли к Рубцовской улице, уже смеркалось. На этой улице сосредоточены все тульские публичные дома, и сейчас, несмотря на раннюю пору, здесь было очень оживленно. Ярко освещенные домики с красными фонарями были переполнены. Мы встретили нескольких солдат нашей роты. На вопрос: — Куда? — они сделали красноречивый жест и молча указали рукой в сторону фонаря.

* * *

Сегодня сутолока несколько улеглась.

Это, пожалуй, первый более или менее спокойный день после мобилизации. Все мы как-то пришли в себя и освоились с мыслью о неизбежности отъезда на фронт. В нашей жизни снова появился порядок и дисциплина.

С утра пригоняли и примеряли боевое снаряжение.

Хотелось так все на себя пригнать, чтобы груз, с которым придется делать большие переходы, не был бы особенно обременителен. Однако, несмотря на все мои старания, ничего не вышло. Когда я надел на себя вещевой мешок, в котором было сложено четыре фунта сухарей, около фунта сахара, две пары белья,

башлык и различные другие принадлежности, — когда кроме вещевого мешка надел еще два подсумка, фляжку и лопатку, а затем еще винтовку, — почувствовалось, что весь этот груз весит никак не меньше пуда. Двигаться было неудобно, лямки вещевого мешка резали плечи, винтовка, лежащая на скатке шинели, скользила и весь я превратился в какого-то навьюченного верблюда.

* * *

Фельдфебель Новоселов объявил, что наш батальон должен явиться на станцию для посадки в вагоны к десяти часам вечера.

Из лагерей выступим часов в восемь.

ГЛАВА IV

В П У Т И

26 июля

Эшелон стоит в Калуге. Пользуюсь этой остановкой, чтобы описать все, что произошло вчера во время посадки.

Выступили мы из нашей лагерной стоянки как я и предполагал, около восьми часов вечера. Двинулись к месту сбора всего батальона и довольно долго протоптались в ожидании батальонного командира. Наконец, гарцуя на лошади, показался Каверин — тот самый, который в первые дни моего пребывания в роте избил помощника фельдшера.

На этот раз бесчисленных знаков и орденов, покрывавших «боевую грудь» Каверина, уже не было и самый вид его был куда менее воинственный, чем восемь месяцев назад.

Итти до вокзала пришлось через весь город.

Не прошли мы и полуверсты, как я почувствовал, что идти страшно трудно. Узкие ремни вещевого мешка резали плечи, скатка, положенная на плечи, и остальное снаряжение мешали правильно держать винтовку — она все время скатывалась с плеча и приходилось напрягать все мускулы, чтобы штыком не поранить соседа.

В городе нас встретила целая процессия — духовенство, хор певчих, распевавших «Боже, царя храни», и громадная толпа обывателей. Они сопровождали наш батальон до самого вокзала. Родственники отправлявшихся на войну вмешивались в строй и мешали правильному движению... Окруженные этой толпой, вносившей большую сумятицу в наши ряды, мы только часам к одиннадцати ночи подошли к вокзалу, где нас в свою очередь встретило множество народа.

Батальон сразу провели на воинскую платформу. Однако, поезда не было. С полчаса простояли мы в полном снаряжении. Наконец, ротный командир приказал составить винтовки в козла и снять амуницию.

Вокруг нас сейчас же собрались провожающие. Послышался истерический плач женщин. На глазах у многих солдат выступили слезы. Меня никто не провожал и потому мне было особенно грустно...

Подача воинского поезда почему-то задержалась. Офицеры ушли в вокзальный буфет, а мы простояли, не двигаясь с места, почти до двух часов ночи. При

посадке в вагоны истерические выкрики и вопли усилились, а когда поезд тронулся, женщины, цепляясь за вагоны, бежали следом, по платформе, рискуя попасть под колеса...

Наконец, Тула скрылась из вида. Возбуждение постепенно улеглось. У части мобилизованных солдат, прибывших из Ефремовского уезда, сохранился еще запас водки. Ее распивали все присутствующие в вагоне. Стали петь песни, — но не слышно было ни одного веселого, бодрящего мотива, все слова говорили о тоске, о разлуке, о трудности жизни — и это даже у выпивших. Те же, кто ничего не пил, сидели задумчиво, молча, очевидно, мысленно находясь еще среди родных.

...Только что заиграл горнист, призывающий к сбору; скоро тронемся дальше.

Кроме нашего эшелона на станции стоят другие. Производится погрузка Калужского гарнизона. Кругом то же самое, что было вчера в Туле. Та же масса народа, женщины с заплаканными лицами, вопли провожающих...

2 августа. Устилуг

Дневка.

Полк сделал тридцати-верстный переход от станции Ковель до Устилуга.

Устилуг — большое село, вернее местечко, населенное украинцами и евреями. Все взрослое мужское

население здесь уже мобилизовано. В хатах, в которых разместились солдаты, остались лишь старики, дети и женщины. До австрийской границы остается не более сорока верст, и крестьяне боятся как бы военные действия не докатились до них.

Хочется описать более подробно движение нашего эшелона от Калуги.

От станции мы отошли под вечер, по направлению к Вязьме. Начальник эшелона не знал конечного пункта назначения и на каждой узловой станции получал указания о дальнейшем маршруте. Долго простояли в Смоленске, ожидая от штаба указаний, куда следовать — на западный фронт или на юго-западный. Из Смоленска тронулись в Барановичи. На этом громадном железнодорожном пункте скопилось до двадцати воинских эшелонов. Здесь распространились слухи, будто пятая армия, в состав которой должен, дескать, войти наш полк, получает направление против немцев. Это вызвало уныние среди офицерства, да и среди солдат, так как говорили, что с австрийцами воевать легче; говорили, что техника у них развита слабее, чем у немцев, и что в австрийской армии имеется много славян, которые вряд ли будут особенно упорно драться.

Продержав нас почти пол-дня в Барановичах, наш состав перевели на дорогу, ведущую к Ковелю.

Это сразу изменило и приподняло наше настроение: путь на Ковель говорил за то, что нас посылают на юго-западный фронт.

Вечером 30-го июля прибыли в Ковель. Начальник эшелона получил распоряжение от коменданта выгрузить батальон. Выгрузка отняла не больше часа, после чего нас отвели в сторону от вокзала и построили поротно в ожидании новых распоряжений.

Спустя два часа пришло распоряжение от командира батальона ночевать здесь.

Ночь была холодная, ночевать под открытым небом было непривычно. Разбили походные палатки из полотнищ, имевшихся на руках у солдат. Все же спать на голой земле, когда постелью служит шинель и она же одновременно одеяло и подушка, было не особенно приятно. Продрогнув несколько часов, мы поднялись с рассветом, не ожидая сигнала, и разбрелись по железнодорожному пути в поисках какого-либо материала, чтобы развести костры и вскипятить чай. Вскоре наш бивуачный лагерь представлял из себя нечто вроде цыганского табора с множеством мелких костров, над которыми висели котелки.

Выступили из Ковеля на следующий день. Итти пришлось широкой песчаной дорогой. Ноги глубоко увязали в песке, и даже нестроевая рота, в составе которой были походные кухни, пулеметные двуколки и пр., едва продвигалась вперед. Лошади с трудом тащили кладь, хотя качество лошадей, взятых в первые дни мобилизации у населения, было совсем хорошее.

Часов с десяти начало печь солнце. Итти стало еще тяжелее. Песок попадал в сапоги, натирал ноги;

груз, навьюченный на солдат, резал плечи... Когда песок кончился, все сразу почувствовали громадное облегчение.

Обедали на привале. Есть после тяжелого перехода не хотелось. Шедший в нашем взводе вольноопределяющийся Вьюков предложил пойти купаться, и купание очень освежило нас.

Вьюков, юрист по образованию, окончил варшавский университет; весной 1914 г. ему пришлось отбывать воинскую повинность. Во время мобилизации он получил назначение в нашу двенадцатую роту. Белокрысы, несколько наивный и весьма экзальтированный, он не проявлял признаков усталости, и это удивило меня. Он объяснил, что так легко переносит поход потому, что много занимался спортом.

* * *

Говорят, в Устилуге мы пробудем неделю, то-есть до тех пор, пока в этом районе не сосредоточится весь семнадцатый корпус. Вестовые из штаба полка рассказывают, что впереди нас есть несколько корпусов, которые должны первыми войти в соприкосновение с противником. Наш же корпус идет в резерве и поэтому до боевой обстановки нам далеко. Некоторые из нас надеются даже на то, что передовые части, вступив в генеральное сражение, решат судьбу войны, и мы вовсе не попадем под обстрел. Хорошо, если бы было так!

4 августа

Ох, и устал же я! В течение одной ночи прошли больше тридцати верст, а это утомит кого угодно. Даже Вьюков и тот протянул ноги.

События вчерашнего дня очень интересны.

Все слухи о том, что мы простоим в Устилуге неделю и что впереди нас двигаются несколько корпусов — оказались вздорными. Впереди нас, кроме пограничных войск, никого не было.

2-го августа дневка в Устилуге прошла спокойно. Настроение солдат было отличное, так как все отдохнули после перехода от Ковеля. На следующее утро полк вывели в поле для рытья окопов — так называемых окопов третьей линии — но едва начались работы, как из штаба прискакал ординарец с приказом возвращаться обратно. Оказалось, что поступило распоряжение срочно всем полком двинуться в город Владимир-Волынский: он неожиданно атакован австрийскими войсками, и защищающий этот город Бородинский полк один не может удержать наступление австрийцев.

В течение какого-нибудь часа полк был готов к выступлению.

Шли походным порядком часа два, затем остановились на привал. Командиры рот и батальонов были вызваны к командиру полка на совещание, мы же, составив ружья в козла, решили освободиться от лишних вещей. Не позднее как завтра предстояло всту-

пать в бой, и с какой стати мы стали бы тащить на себе вещи, которые завтра быть может будут совсем не нужны, ибо неизвестно, останемся ли мы в живых. Первыми полетели из вещевых мешков сухарные мешки и теплое белье, потом шансовые инструменты — лопаты, кирки, мотыги. Можно без преувеличения сказать, что буквально все солдаты полностью выбросили взятые в поход теплые вещи — башлыки, набрюшники, байковое белье — и даже палатки. Когда после совещания командиров полк поднялся, место привала оказалось усеянным брошенными вещами. Я никак не мог понять, зачем нам давали вещи, которые мы с такой легкостью выбросили.

Капитан Андреев объявил полученную им задачу: роте предстояло идти в боковом охранении полка с левой стороны, по дефиле железной дороги Ковель—Владимир-Волинский.

Тронулись вперед, полем, по направлению к железнодорожной линии.

Когда добрались до полотна, Андреев остановил нас и указал каждому взводу, что делать. Нашему взводу он поручил идти в качестве головного и мы первыми начали движение.

Первое отделение, в состав которого входил я, повели вправо.

Уже темнело. Ити пришлось мелким лесом, вернее кустарником, по болотистому грунту. В темноте солдаты натыкались на ветви деревьев, попадали в лужи. Быстро наступавшая темнота заставляла держаться

ближе к полотну железной дороги. Пройдя таким образом около двух верст, мы услышали раздавшуюся далеко сзади нас команду Андреева:

— Стой, ложись!

Остановились, легли. Вслед за этим услышали какую-то новую команду, но не смогли разобрать какую именно. Через несколько мгновений позади нас раздался неожиданный залп. Стрелял, очевидно, шедший позади нас третий взвод. Пули просвистели над головами. Стало страшно — неужели наткнулись на противника? Как же мы, шедшие впереди, не заметили его?

Подпоручик Тарновский пошел к ротному командиру узнавать в чем дело. Вернувшись, он объявил, что ротный приказал третьему взводу стрелять вперед, чтобы очистить впереди лежащую местность от противника, который, возможно, там находится. Вслед за этим послышалась новая команда и нам опять пришлось в неприсветной темноте перелезть через сучья, наткаться на бревна, кочки и лужи.

Решив, что в эту темную ночь все равно ничего не увидишь, я постепенно приблизился к полотну железной дороги и пошел около самой насыпи.

Непосредственно по шпалам шагал Тарновский и с ним несколько солдат для связи.

Тарновский — простой и интеллигентный офицер, его не боялись, и говорить с ним можно было почти запросто. Увидев меня, он сразу затеял разговор и долго говорил о том, что немцы самый злейший враг

для нас и что их надо победить во что бы то ни стало, так как они стремятся подчинить себе весь мир.

Через некоторое время мы вновь услышали команду Андреева и остановились. Андреев подходил к нашему взводу, позади его ординарец вел в поводу лошадь.

— Поручик, — обратился он к Тарновскому, — прикажите дать три залпа, прицел тридцать два по верхушкам деревьев.

— Стрелять? — переспросил Тарновский.

— Обязательно, поручик! Совершенно ясно, что по линии железной дороги сейчас шныряют австрийские разведчики и разъезды. Чтобы не попасть в историю, лучше обстрелять дорогу.

Тарновский отдал приказание взять прицел и, целясь в верхушки деревьев, сделать три залпа.

Прицел поднять было легко, но видеть его в темноте было, конечно, невозможно. Каждый из нас старался как можно выше поднять ствол винтовки, так как впереди находились наши дозоры.

Сделав три залпа, тронулись дальше.

Вскоре на фоне неба вырисовался силуэт какого-то здания, находившегося от нас в нескольких шагах. Почудился шорох. Тарновский шопотом произнес команду:

— Ложись!

Легли. Внимание было напряжено до последнего — казалось, что мы действительно вступили в соприкосновение с неприятелем, и нервы напряглись настолько,

что каждый шорох, каждый шелест листьев мы были готовы принять за движение людей.

— Винтовки заряжены? — шопотом спросил Тарновский. — Если нет, немедленно зарядить.

Шопотом передавали мы друг другу это распоряжение. Я приник к земле, вглядываясь вперед, но ничего не видел. Казалось, что вот-вот на нас кто-то нападет. Вдруг совершенно отчетливо послышался лязг затворов. «Сейчас будут стрелять... последняя минута жизни, — пронеслось в голове, — живым не останешься»... В ожидании неприятельских выстрелов прошло несколько секунд, показавшихся вечностью, но стрельбы не было. Тарновский, лежа недалеко от меня, произнес едва слышно:

— Надо продвигаться вперед и посмотреть, что там.

Я осторожно пополз, следом за мною — солдат Куприянов, запасный.

Приблизившись к зданию, мы остановились за углом, боясь двинуться с места и перейти на другую сторону. Простояв в таком положении не меньше минуты, мы осторожно выглянули из-за угла. Было попрежнему темно, но глаз настолько привык к мраку, что мы могли уже кое-что различать.

Никого не было видно.

Прошли еще несколько шагов.

— Возможно, что они внутри, — шепнул Куприянов.

Осторожно заглянули в окно, но опять ничего не разобрали. Тогда мы потихоньку, на цыпочках, вошли

в здание. Оказалось, что это брошенный вокзалик какого-то железнодорожного полустанка. Набравшись смелости, мы рискнули зажечь спичку и при свете ее увидели брошенные телеграфные ленты и телеграфный столик, аппарат с которого был снят. Обыскав все углы, мы вернулись к Тарновскому и доложили, что никого не нашли.

Задержавшись около полустанка почти на полчаса, тронулись дальше.

Через каждые две-три версты, капитан Андреев приказывал обстреливать впереди лежащую местность. Между тем стало светать. Я попросил у Тарновского разрешения отправиться в головную часть дозора, рассчитывая, что в первой попавшейся на встречу деревушке достану хлеба и молока. Однако, когда я заметил впереди деревню и направился к ней, рота свернула с полотна железной дороги в сторону, и, как мне ни хотелось есть, пришлось тоже сворачивать.

Вступили в дубовый лес. Взошло солнце, утро было великолепное, грунт под ногами — твердый. Болото кончилось, кустарники тоже. Итти было настолько приятно, что сразу позабылись все волнения ночи и все страхи. Но такое настроение продолжалось недолго, — я вдруг заметил какое-то движение во взводах, идущих по основной дороге, и увидел, что они быстро перестраиваются и берут винтовки на изготровку. «Неужели очередная стрельба?» — подумал я и на всякий случай спрятался за дерево. Это было

как нельзя более кстати, потому что рота построилась фронтом в мою сторону. Я поспешно лег на землю. Раздалось сначала несколько залпов, потом беспорядочная частая стрельба. Пули визжа летели над головой, несколько из них ударились в ствол, за которым я лежал. Когда пальба утихла, я оглянулся по сторонам, надеясь увидеть, в кого же стреляли, но никого не заметил. Когда солдаты поставили винтовки к ноге, я быстро подбежал к ним, чтобы узнать в чем дело.

— Куда это вы палили? Ведь никого не видно?

— Капитан Андреев видел кавалерийский разъезд, величиной с эскадрон.

— А вы видели?

— Нет.

— Зачем же вы стреляли?

— Ротный командир велел.

— Я был впереди как раз в этом направлении и никакого эскадрона не видел, а меня вы чуть-чуть не подстрелили.

Пошли дальше и выбрались на большую дорогу. В ближайшем селе Андреев распорядился сделать привал, чтобы позавтракать. Так как кухни с нами не было, каждый должен был находить себе еду сам. Расположились по крестьянским хатам. Крестьянки охотно давали хлеба, молока. Закусили и, едва оправившись, тронулись вперед.

До города осталось не более семи верст.

Выйдя из села, мы очутились на большой дороге, обсаженной по обоим сторонам фруктовыми деревьями, бросавшими на землю приятную тень. Ротный командир снова распорядился выделить дозоры.

Я вместе с Вьюковым отправился в правую сторону. Итти пришлось полем, засеянным пшеницей, почти созревшей. Здесь Вьюков неожиданно наткнулся на труп австрийского кавалериста. Сняв с убитого каску и размахивая ею над своей головой, он побежал к ротному командиру. Каска была пробита пулей, которая и уложила австрийца. Ротный командир привязал ее к седлу, и рота, осмотрев убитого, зашагала дальше.

Перед самым городом нам встретились полковые повозки, направляющиеся для сбора фуража и закупки в окрестных деревнях продовольствия. Нам рассказали, что полк остановился в казармах, в которых раньше квартировал Владимир-Волынский кавалерийский полк, посланный в первые же дни мобилизации на австрийскую границу.

Когда мы подошли к казармам, к большому городку с целым рядом каменных зданий, нам бросились в глаза следы заброшенности и запущенности. Очевидно казармы были оставлены нашими предшественниками очень поспешно. Во дворе в беспорядке были разбросаны предметы хозяйственного обихода, всюду валялись солдатские сундучки, ставшие ненужными

при отправлении в поход. В самих помещениях царил полный беспорядок.

Нашу двенадцатую роту поместили в нижнем этаже одного из корпусов, и едва мы успели расположиться там, как к нам подошли земляки из других рот. Всех интересовало — что же произошло с нами, так как все слышали нашу ночную пальбу и решили, что двенадцатая рота вела бой с противником. Наш ответ, что, собственно говоря, противника мы не видели, разочаровал любопытных.

...Сейчас, когда писал эти строки, послышался орудийный выстрел. Все сразу дрогнуло. Многие из нас решили, что стреляют по казармам, в испуге выбежали во двор и только тогда успокоились, когда узнали, что стреляет наша батарея — куда то в лес, где по донесению разведчиков, бродят партии австрийцев.

Нужно сказать, что накануне во Владимире-Волыньском действительно был бой с наступавшими на город кавалерийскими частями австрийцев. Защищал город Бородинский полк. После боя, продолжавшегося в течение нескольких часов, бородинцы потеряли человек пятнадцать убитыми и ранеными. Сегодня они отдыхают, передав охрану города нашему полку.

Из разговоров с солдатами Бородинского полка я узнал, что наступление, которое велось австрийцами, оказалось вовсе не таким страшным, как представлялось им вначале.

Самый бой начался с того, что разведка обнаружила в лесу, подле города, кавалерию. Полк подготовился

к встрече, заняв заранее избранный участок, и обстрелял австрийцев артиллерийским огнем. Это вызвало ответную стрельбу со стороны противника, которая продолжалась в течение нескольких часов, не причинив особого разрушения городу и вызвав лишь незначительные потери. После этой артиллерийской дуэли австрийцы попытались приблизиться к городу и повести наступление в пешем строю, но, когда в дело были пущены пулеметы, перейти к открытой схватке не рискнули.

* * *

Вечером ко мне зашел ротный писарь Зальман. Между прочим он рассказал, что Андреев поручил ему переписать доклад о боевых действиях двенадцатой роты во время ночных передвижений. В докладе говорится о том, что ротой был якобы обстрелян целый ряд австрийских разъездов и выдержан бой с эскадроном кавалерии, в результате чего неприятель понес потери убитыми. В виде доказательства Андреев представлял каску, пробитую пулей.

Я объяснил Зальману, что каска была снята с убитого австрийца бывшим вместе со мною в дозоре вольноопределяющимся Вьюковым, при чем австриец был убит раньше и найден нами в поле уже мертвым. Что же касается стрельбы, то мы вели ее по совершенно невидимым целям.

Зальман, усмехаясь, ответил:

— Какой же ты, право, наивный. Ведь война окончится через два-три месяца и надо пользоваться всяким удобным случаем, чтобы получить боевую награду. Благодаря своему докладу Андреев получит, если не георгиевский крест, то по крайней мере следующий чин. Не все ли равно для высшего начальства, к которому попадет эта бумага, кто убил австрийца? Не сомневаюсь, голубчик,—продолжал, смеясь, Зальман, — Андреев достаточно хитер и знает, что делает.

Август. Владимир-Волынский

Вечером 4-го августа нашу роту, несмотря на то, что мы всю ночь шли походом, назначили в сторожевое охранение. Мы направились в западную часть города и заняли какой-то вал, служивший, очевидно, границей между городом и крестьянскими полями.

Через какой-нибудь час участок роты был превращен в настоящую позицию с бойницами и даже с бруствером — причем для устройства бруствера мы растащили находившиеся поблизости постройки кирпичного завода. Курить нам запретили, чтобы противник не мог нас заметить. Хотелось пить. Так как костер разложить было нельзя, пришлось по одному солдату от каждого взвода нарядить в ближайшие домики, расположенные на окраине города, чтобы там вскипятить чай. Изредка, небольшими партиями, человек по пяти, солдаты отправлялись в ближайшую хату покурить.

Ночью пошел дождь. Бруствера, устроенные нами над окопами, предохраняли нас от дождя, но все же недостаточно, и к половине ночи мы совершенно промокли.

Офицеры расположились в каком-то не то амбаре, не то складе, приказав солдатам притащить досок и соорудить из них стол и скамейки. Денщики принесли им из офицерского собрания ужин. Кухни же с ужином для солдат не прибыли.

Утром нас сменили.

Днем в наши казармы пришел батальонный командир Каверин — посмотреть, как мы расположились.

Вид его был совсем не тот, что в Туле. Он превратился теперь в обыкновенного офицера, ничем, кроме штаб-офицерских погон, не отличавшегося от остальных. Проходя в сопровождении фельдфебеля по помещению нашей роты, он вдруг остановился против меня и, обратившись к Новоселову, сказал:

— Подпрапорщик, этот солдат мне нравится, пришлите его ко мне, в качестве ординарца для связи.

— Слушаюсь, господин полковник, только позвольте доложить, что это Оленин, который окончил учебную команду и намечается на должность командира отделения.

— Ничего, голубчик, — возразил Каверин, — для него самого будет лучше находиться при батальонном командире, чем при роте.

— Слушаюсь, — покорно ответил Новоселов.

К Каверину я явился под вечер. Он занимал большую квартиру, оставленную одним из штаб-офицеров Бородинского полка. После перехода от Устилуга до Владимира-Волынского и после ночи, проведенной в сторожевой охране,— то-есть по сути дела после двух бессонных ночей — я чувствовал такую усталость, что тотчас же завалился спать и проспал сряду не менее пятнадцати часов.

Когда я на следующее утро проснулся, Каверин был уже на ногах. Проходя через комнатку, отведенную для денщика и меня, он остановился и спросил:

— Ты грамотен?

— Точно так, ваше высокоблагородие.

— Так вот, чтобы не было скучно, я дам тебе почитать.

Вернувшись в свою комнату, он через минуту вынес пачку журналов и небольших книженок. Взяв их в руки, я увидел, что это была сплошная порнография— иллюстрированные страницы книжек показывали во всей наготе сцены половых актов. Такими же порнографическими оказались и журналы. Вместо чтения я засел за свой дневник.

Жить у Каверина удовольствие маленькое. Что я буду собой представлять? Что за ординарец для связи? Для того ли я поступал на военную службу или пошел в учебную команду, чтобы на войне окантоваться в роли денщика у батальонного командира, да еще такого, как Каверин?

Надо удирать.

От батальонного командира благополучно освобо-
дился.

Вчера я отправился в роту, поговорил с Новоселовым и попросил его доложить ротному командиру, что я хочу служить исключительно в строю, а отнюдь не в роли денщика, хотя бы и под названием ординарца.

Выходя из роты, встретился с Тарновским и с той же просьбой обратился к нему. Шедший вместе с Тарновским поручик Цицерон, услышав мои жалобы, насмешливо заметил:

— Вот дурак! Если бы мне разрешили сделаться денщиком у бригадного командира, я ни в каком бы случае не отказался.

Не имея права вступать в разговор с офицерами, я сделал вид, что ничего не слышал и, смотря на Тарновского, сказал:

— Есть много любителей уйти из строя, так пусть среди них и ищут желающих быть денщиком у батальонного командира.

Вернувшись в квартиру Каверина уже к вечеру и поужинав с его денщиком, я лег спать. Часов в десять пришел Каверин и, заглянув в нашу комнату, спросил:

— Ну, как, Оленин, понравилась литература?

— Так точно ваше высокоблагородие, — ответил я.

— Так вот, голубчик, если интересуешься, у меня есть еще много книжек, можешь брать.

— Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие.

Рано утром, еще затемно, явился ординарец из штаба полка. Каверина срочно вызывали в штаб. Я слышал, как он шумел, вставая с постели. Потом послышался его сиплый бас, звавший меня. Я вошел.

— Обуй меня, — сказал он.

Я растерялся.

— Чего же ты стоишь?! — крикнул Каверин. — Слышишь, что тебе говорят?

— Точно так, слушаюсь, ваше высокоблагородие. Я подал ему сапоги.

— Я тебе говорю обуй, а не подай.

Я попытался приставить голенища к его ноге, но ничего путного не выходило. Он выругался и стал натягивать сапоги сам.

После того, как он оделся и собирался уже уходить, явился капитан Андреев. Увидев меня, он удивленно спросил:

— Оленин, ты зачем здесь?

— Я командирован сюда фельдфебелем по распоряжению их высокоблагородия полковника Каверина.

— Как, господин полковник, — обратился капитан к Каверину, — вы взяли у меня самого хорошего будущего унтер-офицера? Ведь он уже окончил учебную команду. Отпустите его в роту, я дам вам другого солдата еще лучше.

— Э, голубчик, — махнул рукой Каверин, — знаю я ваших лучших! Мне он понравился, вот беда только, что не умеет он старого полковника одевать.

— Помилуйте, господин полковник, — ответил Андреев, — ведь его дело в строю быть, а для вашей надобности мы вам любого подыщем. Отпустите!

— Ну, ладно, чорт с ним.

Очевидно история с сапогами помогла мне освободиться.

Не долго думая, я тут же собрал свои вещички в вещевой мешок, винтовку на плечи — и шагом марш в роту.

ГЛАВА V.

В О Й Н А

20 августа

Пробыв во Владимире-Волынске трое суток, мы двинулись к австрийской границе.

Шли все время с походной охраной, так как каких-либо других частей впереди нас не было.

14-го августа после дневки в одном из австрийских селений, нас подняли на рассвете для выступления в дальнейший поход. Полк растянулся по дороге по направлению на юг.

Первое время идти было нетрудно — погода была хорошая, солнце стояло невысоко, и мы аккуратно проходили положенные по уставу четыре версты в час. Через каждые пятьдесят минут делалась остановка для отдыха. В десять часов утра устроили большой привал. Разложили костры, вскипятили чай и после полуторачасового отдыха тронулись дальше.

Итти, однако, было уже не так легко, как утром. Становилось все жарче, солнце пекло немилосердно. Движение колонны утратило недавний стройный порядок — солдаты растянулись по сторонам, стараясь итти по той части дороги, на которую падала тень от посаженных вдоль дороги деревьев. Жажда мучила до того, что, если попадался ручеек или болотце, солдаты тотчас же гурьбой направлялись пить воду. До четырех часов дня было несколько случаев солнечных ударов.

Наступил вечер, затем ночь, — а полк продолжал итти, лишь ненадолго остановившись для раздачи из полковых кухонь обеда.

Усталость была настолько велика, что ноги у солдат едва передвигались, и казалось, что ноша — винтовка и снаряжение — тяжело придавливает к земле. Никакой речи о строевом порядке и быть не могло — люди впотьмах спотыкались, наталкивались друг на друга, а когда останавливались на очередной десяти-минутный привал, большинство тотчас засыпало. Всего за день мы прошли не менее шестидесяти верст.

По сторонам все время видны были зарева больших пожаров. Тарновский объяснял эти зарева тем, что австрийские шпионы нарочно зажигают деревни, чтобы указать путь, которым идут русские войска.

Наконец, уже на рассвете, показалось долгожданное село, в котором назначили остановку. Солдаты буквально валились с ног, но им пришлось еще не

менее получаса прождать пока полковые квартирьеры разобьют село на участки. Нашей роте выпало место в центре деревни. Разместились не по хатам, а около стадолов — сараев с соломой и копнами хлеба.

Составив винтовки в козла, мы тотчас развернули шинели, повалились на землю и сразу заснули мертвым сном. Однако не прошло и пятнадцати минут, как мы были разбужены выстрелами и криками ротного командира:

— Рота в ружье!

Возникла необычайная суматоха. С винтовками в руках мы, полусонные, побежали к ротному командиру и выстроились позади него, лицом на юг. Как только рота выстроилась, ротный командир скомандовал:

— Прицел тридцать два, по верхушкам деревьев впереди лежащего леса!

Взглянув на этот лесок, мы увидели нескольких всадников, проезжающих по опушке. Различить, кто это — русские или австрийцы, из-за дальности расстояния было невозможно. Ротный командир скомандовал: — Пли, — и мы дали залп.

Кавалеристы скрылись.

Последовал приказ вынуть патроны.

Вслед за первым же нашим выстрелом поднялась тревога по всему селу. По деревне от штаба полка быстрым шагом шел командир полка Музеус. Капитан Андреев подбежал к нему и доложил, что стре-

ляли по австрийской кавалерии, продвигавшейся по опушке леса.

— Какое вы имели право, капитан, стрелять без разрешения командира полка? Я вас под суд отдам! — закричал Музеус.

Другие роты, услышавши нашу стрельбу, в панике хватались между тем за винтовки и Музеус с большим трудом успокоил их, при чем мы узнали, что в обстрелянном лесу помещается наша кавалерия; стало быть, капитан Андреев приказал стрелять по своим.

Сон был нарушен, тем более, что вскоре мы услышали отдаленные артиллерийские выстрелы вправо и влево от деревни. Очевидно, бой заваривался по обоим сторонам от нас.

Стрельба затихла только к вечеру. Вокруг села продолжали полыхать огромные зарева пожаров. Нам было запрещено разводить огонь. Музеус в течение всей ночи ходил по улицам села, останавливаясь около расположившихся по дороге рот, и успокаивал солдат уверениями, что все идет прекрасно, что наши побеждают и захватили много трофеев. Несмотря на успокоительные слова командира полка, все же чувствовалось неладное — всю ночь мы находились в полной готовности к выступлению, а полковой обоз стоял в запряжке.

Перед рассветом снова началась канонада. Можно было подумать, что бой идет где-то позади нас, в тех местах, через которые мы проходили накануне.

На рассвете было получено распоряжение выступить из села по направлению на северо-восток.

Первым, впереди всего полка, двинулся обоз и мы поняли, что отступаем.

Среди обозников неизвестно почему возникла паника. Каждый торопился выехать из села поскорее, и эта торопливость мешала другим. Образовалась пробка. Чтобы рассосать ее, потребовалось вмешательство командира полка — он отстегал стэком нескольких обозников и лишь после этого мы смогли тронуться вслед за обозом, по той же дороге.

Через некоторое время впереди послышалась стрельба из винтовок и пулеметов. Полк шел полем, стрельба становилась все ближе и ближе и вскоре мы увидели, как вправо от нас цепью наступают австрийцы.

Австрийцы, очевидно, заметили нас — направили в нашу сторону ружейный и пулеметный огонь. Пули, не долетая до нас, уже на излете, впивались в землю, вздымая пыль.

Полк ускорил движение, стремясь достигнуть видневшегося впереди леса. Батарея полевых пушек быстрым галопом проскакала к опушке и через несколько мгновений открыла артиллерийскую стрельбу. В это время мы столкнулись с бегущими солдатами того полка, на который на наших глазах наступали австрийцы.

— Полк разбит, — кричали они на бегу.

Лес остался в стороне. Мы очутились снова на ка-

кой-то дороге. Неприятельские пули ложились уже совсем рядом, несколько человек из нашей роты было ранено. Однако, ощущения боя не было — казалось, что мы уходим, а нас кто-то настигает и подстегивает сзади.

Отступление под обстрелом длилось несколько часов.

Чем дальше мы шли, тем больше встречалось по пути брошенных повозок с имуществом, пушек, снарядных парков и т. п. Уже перед самым выходом из сферы артиллерийского огня, мы услышали шипение летящего снаряда. Все инстинктивно втянули головы в плечи. Через несколько мгновений раздался оглушительный взрыв. Нас засыпало комьями земли, нескольких человек бросило на землю. Взрыв был настолько силен, что чувствовалось, как сотрясалась под ногами земля.

Передние роты побежали, мы тоже, и только версты через две, когда обстрел прекратился, мы почувствовали, что опасность миновала. Полк был остановлен и приведен в порядок. Потребовалось около часа, чтобы распутать ряды и восстановить правильную походную колонну.

Шли, уже более спокойно, до самого вечера и за этот день снова сделали не менее пятидесяти верст.

Настроение у всех было удрученное: вместо обещанных накануне трофеев и разбитых австрийских дивизий, мы отступали и потеряли свой собственный обоз.

Ротный командир объявил, что полку приказано остановиться в деревне Добушке, где предстоит дать генеральное сражение австрийцам, и что до этой деревни осталось идти немного. Не доходя, однако, до Добушек, мы почему-то вновь свернули с дороги на поле и двинулись по направлению к небольшому лесочку, лежавшему выше деревни.

Пройдя этот лесочек, полк в замешательстве остановился: впереди послышалась стрельба. Усталость, впрочем, была так велика, что парализовала страх,— всех охватило полное безразличие. Музеус распорядился рассыпать один из батальонов в цепь и направить на неприятеля.

Наша рота была двинута в качестве резерва.

Рассыпавшийся батальон быстрым шагом двинулся вперед, делая на ходу одиночные выстрелы. Стрельба обратилась в нашу сторону. Пройдя под неприятно визжавшими над головами пулями несколько десятков сажений, мы к своему удивлению заметили, что стрелявшие одеты не в темно-зеленые шинели, какие были на австрийцах, а в серые — русские. Через несколько минут обнаружилось, что девятый полк, занявший Добушки перестреливался с двести сороковым Красноставским полком, двинутым на поддержку нашей дивизии. Узнав друг друга, солдаты прекратили стрельбу и начали судить и рядить, кто виноват в первых выстрелах. Виновных,

как водится, не оказалось, убитых же с той и с другой стороны было по несколько человек.

«Противники» сошлись на совещание и распределили между собою участки: наш полк занял западную часть деревни, девятый полк — центр, а Красноставский — восточную окраину.

Поужинав около разведенных костров, мы начали беседовать обо всем, что пришлось нам испытать за последние два дня. Засиделись до поздна и не заметили, как к нам подошел капитан Андреев. Он рассказал, что недалеко от Добушек остались невывезенными отбитые у австрийцев орудия и предложил охотникам отправиться за ними.

Возможность пойти и утащить из-под носа австрийцев их пушки показалась весьма заманчивой. Я в числе других вызвался идти. Отправились ротный командир, фельдфебель и человек тридцать солдат. Шли тихо, часто останавливаясь, прислушиваясь и пытливо вглядываясь в темноту. Наконец, действительно наткнулись на брошенное орудие. Чье оно — разобрать ночью было трудно. Мы все впряглись в него и на руках потащили пушку в Добушки. Первое время двигались со страхом и опаской, боясь возможного преследования австрийцев, но потом успокоились и начали шутить и восторгаться своей добычей. Утром обнаружилось, что пушка — русская, но тем не менее двенадцатая рота долго была героем дня.

На следующий день нашему батальону поручили

занять соседний лесок и тщательно его охранять,— так было написано в диспозиции.

Сначала все было спокойно, но во второй половине дня мы заметили движение австрийских цепей. Несмотря на огонь нашей батареи, они с каждым часом приближались все ближе и ближе и в конце концов подошли на расстояние ружейного выстрела.

Батальонный командир Каверин, обязанный по должности присутствовать при батальоне, приказал выкопать ему глубокую землянку. Вырыли яму глубиной не менее сажени и сверху закрыли ее нарубленными в лесочке деревьями.

Из этой землянки Каверин не выходил в течение целого дня.

Когда к вечеру стрельба утихла, он решил подняться наверх, очевидно, для отправления естественных потребностей — но только успел он выйти, как со стороны австрийцев прожужжала ружейная пуля. Каверин мигом свалился обратно в яму. Все окружающие подумали, что он ранен. Однако, крови не было и оказалось, что пуля «контузила» полковника.

Каверин заохал, вызвал к себе санитаря и хотя тот, осмотрев его, сказал, что никакого поранения нет, он не переставал жаловаться и уверять, что ничего не слышит на одно ухо.

Через день или два после этого случая капитан Андреев обратился к нему с каким-то вопросом. Каверин заявил, что ничего не слышит и подставил

ему другое ухо. Когда же Андреев, отойдя несколько в сторону, сказал: — Ну и сволочь, притворяется, — он немедленно услышал эту реплику и спросил:

— Что это вы там, капитан, ворчите?

Эта история насмешила весь батальон и стала притчей во языцех всего полка. Однако Каверин был стойким до конца и принимал меры «предосторожности» — совершенно перестал выходить из своей ямы и там же совершал естественные потребности. Как мог он сидеть в этой яме, к которой было омерзительно подойти — неизвестно.

* * *

Под Добушками мы просидели три дня. Предположение, что австрийцы перейдут в наступление и дело дойдет до решительной схватки, не оправдалось. Австрийцы окопались и, не сходя с места, обстреливали наши окопы.

На третий день ночью пришло распоряжение штаба присоединиться к другим батальонам полка. Соблюдая полную тишину, мы покинули свои позиции.

Снова началось отступление и опять мы все, после суток ходьбы, падали от усталости. Переправившись через Буг, мы взяли направление на Устилуг, из которого полк вышел 3-го августа. Насколько тяжел был переход, можно судить по верховым лошадям наших офицеров: лошади не могли уже выдер-

живать всадника, шатались от усталости и их вели на поводу.

Наконец, уже глубокой ночью, пройдя почти без остановок верст восемьдесят, полк остановился в селе под Владимиром-Волынским. Расположились бивуаком, разбив походные палатки, чтобы укрыться от начинавшегося дождя. Несмотря на усталость, спать не хотелось. Вид нашего лагеря был замечателен. В множестве костров, вокруг которых сидели люди, варя картофель и кипятя чай, в смешанном говоре людей и ржании коней было что-то сказочное.

Весь следующий день мы отдыхали.

Солдаты разбрелись по селу—«доставали» гусей и кур.

Говорю «доставали», потому что никто платить за гуся или курицу не был в состоянии и старался поймать курицу, а не купить. На разложенных в изобилии кострах варилась и жарилась пойманная добыча. Слышны были споры и скандалы с крестьянками, защищавшими свою птицу от прожорливого солдатского желудка. Надо сознаться, что кухня приготовила обед во время; недостатка в пище не было, но тем не менее солдаты предпочитали есть гусятину вместо солдатского борща и каши.

К концу дня мы построились на площади. Перед выступлением Музеус обратился к солдатам с короткой речью, в которой благодарил полк за огромный переход, сравнивая его с суворовскими переходами, и несколько раз назвал нас орлами и кутузовцами

(Кутузов — шеф нашего полка). Он говорил, что сделанный нами переход втянул австрийцев в мешок, а это позволило другим дивизиям напасть на противника с фланга и разбить его до основания.

— Теперь, — закончил Музеус, — мы снова переходим в наступление и в ближайшее же время будем у Перемышля.

30 августа

Движение вперед — значительно медленнее, чем недавнее отступление назад. Все же 29-го, то-есть вчера, мы перешли австрийскую границу и вплотную приблизились к городу Немиров.

После перехода через границу появилось приятное сознание, что враг находится не на нашей территории, и что шествие нашего полка — победоносно. У всех усилилась надежда на то, что война будет короткой и в результате последних боев можно ждать скорого мира.

5 сентября

Жуткую картину пришлось увидеть перед вступлением в Немиров.

Шедшие впереди нас части вели упорный бой за обладание этим пограничным городком, и на небольшом сравнительно участке все поле оказалось усеянным трупами. Их было несколько сотен. Австрий-

ские и русские солдаты лежали вперемежку, большинство со штыковыми ранами. Встречались трупы с рассеченными черепами, видимо от применения в дело шансового инструмента — лопат, кирок, мотыг... Вот лежат два обуглившихся трупа. Один австриец, другой русский, оба убиты разорвавшимся над ними снарядом... Дальше — труп молодого австрийца с открытыми, как бы в изумлении, глазами, с одной рукой, вытянутой вперед и точно призывающей к пощаде, в то время как другая держится за рассеченный висок... Большинство убитых с остервенелыми лицами, с оскаленными зубами. На них жутко смотреть.

Нашему полку такого боя вести еще не приходилось — до сих пор все наши стычки с австрийцами ограничивались незначительной перестрелкой.

* * *

В Немиров мы вошли не сразу: остановились на ночлег в каком-то имении, или, как их здесь называют, в фольварке. Солдаты рассыпались по всей усадьбе и первым делом обнаружили большой винокуренный завод.

Не прошло и полчаса, как добрая половина полка оказалась пьяной.

Пьяны были не только солдаты, но и офицеры. Музеус ходил по имению и стегал стэком каждого попавшегося ему на глаза пьяного, но ничего не мог поделать.

На заводе оказался спирт-сырец. Солдаты наполнили им свои фляги; что же касается офицерства, то для них нашлась более вместительная посуда: повозки с офицерскими вещами наполовину нагрузились спиртом.

Разграблению подвергся не только завод, но и огромный скотный двор на несколько сот голов. Артельщики всех рот заготовили себе запас в пять-семь голов скота — при чем это делалось с ведома и позволения ротных командиров.

Дело в том, что в походной обстановке заготовка провизии поручается командному составу. Хозяйственная часть полка выдает каждому ротному командиру денежный аванс на покупку мяса и овощей. По мере израсходования денег и представления счетов этот аванс восстанавливается.

В первые дни войны злоупотребления были не так заметны. Скот на мясо покупался у крестьян почти по нормальной цене. Но чем ближе подходили мы к фронтовой полосе, тем реже происходила покупка мяса. Артельщики добывали коров и быков или даром в брошенных населением дворах, или покупали их за баснословно дешевую цену: на моих глазах, например, один артельщик купил корову, стоящую не меньше ста рублей, всего за десятку. Само собой разумеется, что счет на купленный за бесценно или взятый бесплатно скот составлялся так, будто деньги выплачены полностью, по нормальной расценке. За какой-нибудь месяц войны большинство ротных ко-

мандиров нашего полка сумели скопить себе не менее чем по тысяче рублей.

Ночь, проведенная в фольварке, прошла в пьяном угаре.

Трезвых почти не было — все пили спирт, жарили огромные куски мяса. Из брошенного австрийцами обоза достали много сахара, в котором чувствовался недостаток, шоколада, сладкого кофе и табаку.

Угомонились солдаты только с рассветом, когда Музеус, не ложившийся всю ночь, решил поджечь завод.

Вспыхнул пожар. Оставаться в фольварке стало опасно и роты были выведены в поле.

* * *

31 августа вступили в город Немиров.

По приказу Музеуса была назначена дневка. Город оказался пустым — все население ушло вместе с австрийскими частями. Пользуясь этим, солдаты начали грабить брошенные квартиры.

Кто-то из них обнаружил подвал с огромным запасом яиц, а рядом — погреб со спиртом.

Около этих складов тотчас сгрудилась огромная толпа солдат, стремившихся достать себе яиц и спирта. Вооруженная команда, высланная комендантом для охраны складов, не могла сдержать напора толпы. Давя друг друга, вся человеческая масса бросилась в подвалы. Несколько десятков солдат утонуло в спирте, многие отравились. Офицеры — в том

числе и капитан Андреев — больше способствовали пьянке, чем сдерживали ее. Андреев, например, несколько раз посылал своих вестовых и денщиков за добычей.

Создалось нелепое положение, при котором выставить надежную охрану было не из кого, и Музеус снова приказал поджечь спиртной подвал. Ветер перебросил пламя на другие здания и через час-два на месте Немирова осталось голое пепелище.

Полк еле-еле успел выйти за город и вывести пьяных солдат.

На следующее утро Музеус выстроил полк и объявил, что всякое мародерство, пьянство и воровство будет беспощадно преследоваться и что для начала он вводит телесное наказание: всякого, пытающегося грабить или пьянствовать — будут на месте наказывать розгами.

Когда мы тронулись от Немирова дальше, вглубь Австрии, на месте ночлега можно было видеть множество накануне награбленного имущества. На земле валялись шкатулки, телефонные аппараты гражданского образца, куски материи, предметы домашнего обихода...

25 сентября

Последние дни прошли в крупных переходах — двигались вперед настолько быстро, что кухни едва поспевали за нами.

От быстроты ли движения, или по каким-нибудь другим причинам, но стало нехватать многих продуктов — сахара, табаку. Целыми неделями мы не видели хлеба, питались канустными кочерыжками и поедали огромное количество яблок и груш из попадавшихся по пути фруктовых садов. При остановке в деревнях рассыпались по хатам в поисках еды, но население, конечно, не настолько богато, чтобы прокормить всю массу проходящих войск, тем более, что перед нами прошли австрийцы, в свою очередь отбиравшие у населения продукты.

10-го сентября мы перебрались через реку Сан и пересекли Ярославль, древний город, бывший когда-то русским и в последствии перешедший вместе с Галицией к Австрии.

Впечатление у меня от этого города, через который мы прошли форсированным маршем, осталось самое лучшее — я еще не встречал таких городов. Ярославль, как бы уездный город, но он значительно превосходит нашу губернскую Тулу и по архитектуре зданий и по чистоте и по обилию зелени.

Проходя через Ярославль, мы думали сделать кое-какие покупки. Но командир полка отдал строжайший приказ пройти по улицам в образцовом порядке и не выпускать никого из строя.

Полк стройно продефилировал по улицам на глазах выглядывавших из домов горожан. Впереди шел оркестр, игравший какой-то боевой марш, а мы «давали ногу». Этим командование полка хотело пока-

зять насколько хороша и дисциплинирована русская армия.

Через два дня мы подошли на близкое расстояние к Перемышлю. Офицеры говорили, что полк наш будет включен в состав осадной армии, но расчеты эти не подтвердились. Мы простояли на подступах к крепости всего одну ночь, а затем получили распоряжение двигаться обратно через Ярославль к Варшаве, где, как передавал «Солдатский вестник», немцы сосредоточили крупные силы.

Весь обратный путь, в течение недели лили дожди. Лошади, тащившие обоз и артиллерию, выбивались из сил, и солдатам нередко приходилось на руках вытаскивать из грязи завязшие пушки.

Только в Люблине, нам впервые за много дней дали нормально пообедать, а главное, после двухнедельного путешествия, мы, наконец, получили хлеб. На этот раз выдали его в таком количестве точно старались вознаградить за все голодное время.

Переходы, столкновения с противником, артиллерийский обстрел, недоедание — так измотали солдат, что отношение у них ко всему и ко всем в высшей степени безразличное, равнодушное. В мыслях нет ничего протестующего. Скучавшие первое время по семье и по родным местам, солдаты теперь примирились с существующей обстановкой и разговоров о родине, о семейных делах почти не услышишь. Выработалась своего рода «походная психика»: думаешь исключительно о том, сколько придется идти,

во время ли будет обед, или как достать табаку. Другие мысли в голову не приходят.

Тяжесть похода ложится на нас, конечно, неравномерно. В то время как солдаты изнемогают от усталости и от голода, офицеры даже в самые трудные минуты обеспечены всем необходимым. Сзади рот обычно следуют повозки с офицерскими вещами, но многим и этого мало. Например, наш капитан Андреев несколько дней тому назад организовал особую «команду разведчиков». Сообразив, что в Галиции почти вся торговля сосредоточена в руках евреев, он создал эту «команду» из евреев-солдат.

Как только рота подходит к месту ночлега, Андреев посылает их вперед, и они ищут для него по всему селу или местечку вино, водку, закуску. Денег на приобретение всего этого Андреев не дает; следовательно, «разведчики» должны тратить свои деньги или добывать продукты мародерским путем.

ГЛАВА VI

БОИ НА ВИСЛЕ

30 сентября

Пишу в окопах, принятых нами от третьей кавказской дивизии.

В Люблине, где я писал в последний раз, мы пробыли всего одну ночь. Утром нас погрузили в вагоны и повезли по направлению к Иван-Городской крепости. Тут же в вагонах нам роздали прибывшие из Москвы подарки — белье, пакетики с конвертами и почтовой бумагой, карандаши и, что особенно приятно, — табак. Подарков хватило на всех людей нашего взвода. Зато почты из России нет до сих пор, и мы в течение двух месяцев не имеем вестей из дому.

В Иван-Городе нам удалось получить разрешение помыться в железнодорожной бане.

Это очень обрадовало солдат, так как за полуторамесячное путешествие по полям Галиции все мы по-

крылись паразитами. Однако, вернувшись после мытья обратно в роту, я так же, как и другие солдаты, не могу уснуть. Все тело жгло как огнем. Сначала мы думали, что после долгого перерыва кожа раздражена сегодняшним мытьем, но каков же был наш ужас, когда при утреннем свете мы увидали, что только что надетое чистое белье сплошь покрыто вшами! Оказалось, паразиты перебрались с завшивленных шинелей и прочих старых вещей на свежее белье и набросились на чистое тело с особенной яростью.

Нужно сознаться, что в этом мы виноваты сами: прежде чем менять белье и мыться, нужно было очистить остальные вещи. Впрочем это тоже вряд ли помогло бы, если принять во внимание, что мы спим в повалку и что вшей у каждого — изобилие. Насколько их много, можно судить хотя бы по тому, что когда начнет чесаться шея и поведешь рукой по воротнику гимнастерки или шинели, то пальцы делаются мокрыми и набираешь буквально горсть раздавленных насекомых.

На следующий день нас направили из Иван-Города по направлению к Варшаве.

Деревня, в которой мы остановились на ночлег, была занята казачьей кавалерийской дивизией. Мой взвод ночевал в одной хате с кавалерийским взводом. Казачий унтер-офицер, бывший учитель, более обеспеченный продовольствием, чем мы, пехотинцы, угощал нас всяческой снедью. Завязалась долгая

беседа, и я не без удивления убедился, насколько отрицательно относится к войне мой собеседник. Он говорил, что война затеяна вовсе не для того, чтобы обеспечить культурное развитие славянства, и что причины ее — в борьбе за рынки для сбыта товаров. Мне, мало сведущему в вопросах политической борьбы и революционного движения, эти слова были мало понятны, но я инстинктивно чувствовал их правоту: действительно, с какой стати истреблять миллионы крестьян и рабочих, живущих, по сути дела, в одинаковых условиях во всех странах, ради отвлеченной идеи господства той или иной нации.

* * *

Ночью 29 сентября мы до самого утра проплутали между двумя селами по болоту и кустарнику. Нас выводили к реке то в одном месте, то в другом; затем мы возвращались обратно — при этом по колено в грязи и под проливным дождем. Вода стекала с фуражки под воротник, и вообще мы промокли как сквозь. Чувствовалось, что если остановишься и заснешь, то на другой день будешь находиться в горячечном бреду.

Наконец, на рассвете сегодняшнего дня полк вышел на берег Вислы.

Через реку был наведен понтонный мост.

Наш третий батальон должен был первым переходить по этому мосту на другой берег, где уже раз-

местилась одна из наших русских дивизий и где предстояла боевая встреча уже не с австрийцами, а с немцами.

Что такое понтонный мост? — Это ряд лодок, специального военного образца, поставленных одна к другой, на которые набросаны в виде палубы доски. По таким мостам переходят не только люди, но и обозы и артиллерия и т. д.

Первую половину моста мы прошли спокойно. Когда же мы достигли середины, над нашими головами полетели немецкие снаряды. Они падали в воду и поднимали при взрыве огромные столбы воды. Положение было жуткое. Немцы стремились попасть снарядом в мост, чтобы разрушить его и не только прекратить наше дальнейшее движение, но и сбросить нас в воду.

Мы оказались совершенно беспомощными—спрятаться, как это можно сделать, проходя по дороге или полем, было некуда. Под бешеным артиллерийским огнем нам пришлось пробежать около полуверсты и мы успокоились, только вступив на твердую землю.

Наш батальон оказался счастливее других.

Когда перебирались остальные части, немцы уже пристрелялись и, хотя мост и не был разрушен, от разрыва снарядов и от шрапнельных пуль было все же перебито несколько десятков солдат. Особенно сильно пострадала артиллерийская бригада—у ней погибло много лошадей, несколько снарядных

ящиков со снарядами сбросило в воду, а вместе с ними и людей.

Пройдя некоторое расстояние вдоль берега, мы наткнулись на две дамбы, сооруженные для предохранения крестьянских полей от половодья. Неподалеку от дамб находились окопы, занятые подлежащим смене Шерванским полком третьей кавказской дивизии.

Унтер-офицер того взвода, который сменяли мы, рассказал, что они защищают окопы уже целую неделю и выдержали упорные бои с немцами.

— Посмотрите, что у меня осталось,— говорил он, указывая на солдат,— во взводе должно быть шестьдесят человек, а их всего двенадцать.

Утро прошло сравнительно спокойно. Немцы стреляли по переправе и окопов пока не трогали. Я вместе с унтер-офицером запаса—Петровым отправился осмотреть места, в которых придется пробыть, очевидно, довольно долго. Не прошли мы и ста шагов, как наткнулись на почерневшие от разложения трупы русских и немецких солдат. Немецкие солдаты были одеты в форму мирного времени, в нарядные мундиры и каски с блестящими кокардами.

Деревня, расположенная перед окопами, в районе которой происходили бои, сплошь была завалена трупами. Жителей в деревне, конечно, не осталось. Бродили брошенные хозяевами, уже одичавшие свиньи, и я видел, как в одном месте они пожирали трупы убитых...

Сейчас, когда пишу эти строки, стоит прекрасная погода, греет солнце. Вокруг дамбы посажены ветлы и от них падает на землю приятная тень. Ничто не напоминает об ужасах войны — разве только отзвуки артиллерийской стрельбы. Меня прерывают...

* * *

Немцы перенесли свой огонь на окопы. Час тому назад несколько снарядов разорвалось над нашими головами. За первыми последовали многие другие и мы припали к стенкам наших окопов под дамбой.

Когда огонь несколько успокоился, я присел на краю дамбы, чтобы открыть банку консервов. Вдруг, неожиданно, шагах в десяти от меня разорвался легкий снаряд и что-то ударило меня в плечо. Оказывается по плечу скользнул осколок шрапнельного стакана, причинивший незначительный ушиб. Левое плечо шинели оказалось разорванным и один из мелких осколков остался в складке сукна. Я решил сохранить этот осколок, как воспоминание о сегодняшнем дне.

Снова отрывают — зовет фельдфебель. Кстати, надо заметить, что я вот уже несколько дней заменяю взводного командира: подпрапорщик Вартыш заболел, уехал лечиться в тыл, и я исполняю его обязанности.

Теперь я уже произведен в младшие унтер-офицеры и на моих погонах сделаны химическим каран-

дашом две полоски — признак моего унтер-офицерского звания.

6 октября

Боевые события развиваются с необычайной быстротой.

Вечером 30-го сентября нашему полку было приказано атаковать деревню Вулько-Торжинскую.

После захода солнца полк выступил из своих окопов и перешел через дамбу в открытое поле.

Батальоны двигались в сомкнутых колоннах, точно в мирное время на учебном плацу. Вечер был тихий, ясный. Со стороны немцев не было слышно ни одного выстрела и эта тишина, казалось, таила в себе что-то зловещее.

Когда подходили к деревне, окруженной плетневой изгородью, уже смеркалось.

С правой и левой стороны полка слышались одиночные ружейные выстрелы, но против нас было попрежнему тихо. За первыми последовало еще несколько выстрелов. Около меня упал пораженный пулей в висок солдат нашей роты Стаклицкий, поступивший в полк почти одновременно со мной. Затем слышались стоны и упало еще несколько человек.

Солдаты стали нервничать. Спешившийся Каверин протиснулся вглубь солдатских рядов. В это время грянул артиллерийский выстрел и снаряд разорвался недалеко от нашей колонны. Стреляли слева.

Следующие выстрелы были с правой стороны. Мы попали в пространство, охваченное противником с обеих сторон.

Ряды дрогнули — стоять под огнем на одном месте, в сомкнутом строю было невыносимо. Задние ряды стали напирать на передних. Однако забор и плетневая изгородь не давали продвинуться вперед и это внесло в наши ряды сумятицу.

Нам показалось, что соседний батальон идет не вперед, а обратно. Это усилило общую нервозность и некоторые взводы, не выдержав, стали отходить в сторону от общей батальонной колонны.

Еще несколько выстрелов, еще несколько упавших убитых и раненых — и весь батальон, так красиво построенный по образцу мирного времени, превратился в растерянную, дезорганизованную толпу. Часть солдат бросилась вперед, кое-кто укрылся в деревне, но большинство побежало назад.

Собрав всю силу воли, я приказал своему взводу держаться около меня. Среди нас каким-то образом очутился Каверин.

— Братцы, голубчики, — взмолился он, — не бросайте старика, ведь я всегда был с вами хорош. Дайте мне пойти вместе с вами.

Это был крик растерявшегося человека, трусившего за свою жизнь и совершенно забывшего, что он командир батальона.

Вместе с нашим взводом он укрылся в деревне. Кругом никого не было. От всего полка на поле не

осталось ни единой души. Все бежали назад, хотя ни одного немца мы не видели, а артиллерийский и ружейный огонь был, в общем, совсем невелик.

Ночная атака сорвалась.

Выждав, когда утихнет пальба, и вернувшись в окопы, из которых так недавно мы вышли в наступление, я к удивлению увидел, что окопы пусты.

Пришлось послать нескольких солдат на розыски полка, чтобы получить указание, куда двигаться.

Минут через сорок посланные вернулись и сообщили, что наша рота так же, как и остальные, находится в окопах третьей линии на самом берегу Вислы и что фельдфебель приказал взводу присоединиться к роте.

Пошли в сопровождении плетущегося за нами Каверина.

Нашли роту и сразу же меня встретил грозный окрик Андреева:

— Ты где пропадал?

— Был вместе с командиром батальона в деревне Вулько-Торжинской, — отрапортовал я и затем доложил, что в окопах полка никого нет, и что, если не будет выставлено охранения, немцы могут занять их без всяких усилий.

Лишь после этого Андреев приказал роте отправиться обратно в окопы.

На следующий день вид у всех был весьма сконфуженный. Полк, традиции которого так усиленно рекламировались в мирное время, бежал с поля

сражения, не видя противника, под влиянием нескольких орудийных и ружейных выстрелов! Было заметно, что всем хочется загладить свою вину.

Поручик Цицерон, младший офицер нашей роты, в разговоре с фельдфебелем высказал мнение, что мы вообще не подготовлены к ночным действиям и что психика солдат, особенно русских, такова, что они предпочитают встречать смерть с открытыми глазами, и поэтому следует начинать наступления не ночью, а днем.

Между прочим этот же самый Цицерон первым пустился в бегство с поля битвы.

* * *

2-го октября наступление повели с утра и на этот раз уже не сомкнутым строем, а цепью, делая небольшие перебежки. Постепенно мы вплотную приблизились к Вулько-Торжинской. Оказалось, что деревня оставлена немцами и позиции их вынесены за околицу.

Заняв деревню, полк повел наступление на окопы, из которых, как и третьего дня ночью, слышались не частые одиночные выстрелы. С каждым немецким выстрелом наши ряды все больше и больше редели. Когда до немцев осталось не больше двухсот шагов, движение полка было остановлено и цепи залегли.

Открытый с фортов Иван-Городской крепости огонь тяжелыми снарядами вынудил немцев отступить на

следующие позиции. Полк укрепился за деревней, использовав оставленные немцами окопы.

* * *

Прошло три дня. За это время наши позиции приобрели довольно обстоятельный вид. Добрая половина деревенских построек была разобрана на устройство блиндажей и траверсов.

5-го октября, утром, пользуясь наступившим затишьем, в мой взвод прислали консервы. Я начал задачу. Около меня столпилось несколько человек солдат. В это время с нашей стороны слышались артиллерийские выстрелы и один из снарядов, сделавший почему-то недолет, упал шагах в двух от нашей группы, разорвав в клочья командира моего второго отделения унтер-офицера Базенкова.

— Стреляют по своим!— закричали солдаты.

О несчастьи передали по телефону в штаб полка, и дальнейшая стрельба шла уже правильно. Но моего отделенного командира не стало...

Когда все успокоилось, я снова вызвал представителей отделений, чтобы закончить выдачу консервов. Но сделать это так и не удалось: сзади слышался неистовый крик, затем выстрел, и мимо моей головы пролетела револьверная пуля. В изумлении оглянувшись назад, я увидел стоявшего около землянки капитана Андреева. Глаза его были безумно раскрыты, он целился в меня из нагана и кричал:

— Вперед!

Не понимая в чем дело, я скомандовал взводу:

— В ружье. Вперед.

То же самое сделали и другие взводные, и через минуту вся рота выбралась из окопов и направилась в сторону немцев. Ротный командир, продолжая стрелять из револьвера с криком и бранью следовал за нами. Пройдя шагов тридцать, он скомандовал:

— Полуоборот налево!

Мы повернулись.

Через десять минут слышалась новая команда. Рота прошла перед окопами полка на левый фланг. Затем Андреев скомандовал:

— Полуоборот направо!

Мы повернули и пошли уже по направлению к немцам.

Немцы заметили это и открыли стрельбу. Однако Андреев ничего не предпринял, чтобы применить к местности и защитить солдат от пуль. На каждом шагу, с каждым новым выстрелом солдаты выбывали один за другим.

Наконец, впереди показался какой-то хуторок. Капитан Андреев скомандовал:

— В атаку!

Со штыками наперевес, с криком «ура», бросились мы вперед. Однако на хуторе никого не оказалось. Тогда Андреев приказал открыть огонь по видневшемуся впереди кустарнику, причем, как делал это всегда, скомандовал—прицел 32, по верхушкам кустов.

Стали стрелять и это вызвало ураганный огонь немецкой артиллерии, осыпавшей нас шрапнелью.

От хутора в сторону кустарника шел глубокий ход сообщений, сооруженный немцами. Андреев решил использовать его в качестве окопа. С трудом приспособились мы к нему и кое-как укрылись от рвущихся над головами снарядов. Андреев начал было командовать:

— Прицел 32...— но не кончил: раздался новый взрыв, громкий вопль, и оглянувшись мы увидели Андреева на земле, стонущего от боли.

— Слава тебе, господи, — перекрестились солдаты, — кажется уколошило.

Однако оказалось, что Андреев не только не был уколот, но даже и не ранен. Его ударило дистанционной трубкой снаряда по твердому погону, и он закричал от ушиба. Это отрезвило его. Он передал командование ротой Новоселову, сказав, что он контужен, и так как исполнил свой долг, заняв важный тактический ключ для двух дивизий сразу, то может спокойно отправиться лечиться в тыл.

Еще в Немирове, а затем в Ярославле Андреев нагрузил свою повозку вином и спиртом. Оставшись, после неудачного наступления 30 сентября, в одиночестве (другие офицеры выбыли из роты — Тарновский заболел еще в Люблине, а Цицерон вывихнул себе ногу при бегстве во время ночного «боя»), Андреев беспощадно запил. В пьяном виде повел он нас в это бессмысленное наступление и, заняв после больших

потерь никому ненужный хуторок, сидя под сильным обстрелом немцев, не захотел исполнить приказа Музеуса, приславшего с ординарцем распоряжение присоединиться к полку. С упорством пьяного человека, он твердил:

— Мною занят важнейший пункт, тактический ключ для двух дивизий.

Лишь после того, как Музеус прислал ординарца вторично и приказал через него фельдфебелю Новоселову в случае дальнейшего упорствования Андреева принять командование ротой на себя — Андреев подчинился, и мы возвратились в окопы.

* * *

Немцы отступили от Вислы в сторону местечка Казеницы.

Отступление идет по всему фронту, и можно надеяться, что мы теперь на продолжительное время застрахованы от новых боев.

20 октября

События последних двух недель оставили множество впечатлений, от которых я до сих пор не могу освободиться. Чтобы передать все трудности переходов, совершенных за это время, достаточно сказать, что наша рота в конце сентября переправлявшаяся через Вислу в составе почти двухсот пятиде-

сяти штыков, нынче состоит всего из пятидесяти человек. Двести человек выбыло из роты убитыми и ранеными — и это меньше чем за месяц!

Впрочем, начну по порядку.

Казеницы мы заняли шестого октября. Немцы отступали, разрушая не только железные дороги, но и шоссейные. Нашим обозам и артиллерии пришлось преодолевать всяческие препятствия, а саперной роте — день и ночь работать над дорожным ремонтом.

Казеницы, — городок, имевший в мирное время до двадцати тысяч жителей — представлял из себя сейчас в буквальном смысле слова развалины. После двухнедельного артиллерийского обстрела в нем сохранилось лишь несколько домов, не разбитых снарядами до основания. Горожане прятались в подвалах и многие из них оказались заживо похороненными под развалинами.

Наши квартирьеры с трудом разыскали несколько более или менее сохранившихся зданий, где солдаты могли бы переночевать и укрыться от начавшихся дождей. На каждую роту в среднем пришлось по одному небольшому домику и мы, несмотря на то, что были в городе, чувствовали себя гораздо хуже, чем в какой-либо деревне.

Ничего съедобного раздобыть не удалось. Все в городе было разбито, сожжено и растащено раньше, чем мы туда вошли.

Пришлось ожидать покуда прибудут полковые кухни. Усталые, разбитые физически и морально,

мы сгрудились в отведенном для нашей роты домике в самом подавленном состоянии.

Отступление немцев, само по себе словно бы и свидетельствовавшее о приближении конца войны, трогало нас мало. Нервы были натянуты до отказа. Все молчали и лишь изредка заговаривал кто-нибудь о погибших товарищах или недобрым словом поминал капитана Андреева, бессмысленно поведшего нас под обстрел.

Мои мысли перенеслись на родину, откуда вот уже на протяжении трех месяцев нет никаких вестей.

Быстрое походное движение, очевидно, не позволяет почте нагнать нас. Как-то на днях я слышал разговор офицеров о том, что почта для полка уже близко — на другом берегу Вислы — и как только выпадет на нашу долю дневка, письма и посылки будут, наконец, доставлены. Не знаю так ли это, но пока что приходится ждать. До сих пор все новости мы узнаем исключительно через «солдатский вестник», — т.-е. из разговоров и слухов, исходящих главным образом от обозной публики.

* * *

В Казеницах мы переночевали всего одну ночь.

Следующая остановка была сделана в деревне Августове. Остановилось здесь всего три батальона, четвертый же был выслан в сторожевое охранение в деревню, расположенную впереди верстах в девяти по шоссе.

В Августовке насчитывалось около двухсот совершенно сохранившихся домов — в этом районе настоящих боев еще не было и почти в каждой хате можно было достать свежее-испеченного хлеба и молока.

Слухи о том, что почта прибывает в первую же дневку, оправдались.

Я получил письмо от брата. Он писал, что в тылу недавно объявлена новая мобилизация более старших возрастов запаса, назначено переосвидетельствование бывших льготников (так называемых желто- и бело-билетников) и что его, по всей вероятности, в ближайшее время тоже призовут на военную службу. Впрочем, он писал также и о том, что все уверены будто война будет скоро закончена и вновь мобилизованные уже не попадут на фронт.

Кроме письма я получил — тоже от брата — небольшую посылку с бельем и несколькими коробками консервов.

Известия из дому от близкого человека, свежий только что испеченный хлеб, добытый в деревне, и коробка со шпротами изменили мое невеселое настроение — я почувствовал себя бодрей. Так же повеселели и остальные, получившие кто письмо, кто посылку. Но вместе с тем всем стало грустно — вспомнились родные места, дом, семья...

На другой день, пользуясь дневкой, мы в больших «боньяках», как называют здесь горшки для варки пищи, кипятили воду, чтобы вымыться и надеть полученное в посылках чистое белье.

Едва мы успели сделать это, как вдруг по всей деревне рассыпались ординарцы с приказом командира полка немедленно приготовиться к выступлению. В какие-нибудь четверть часа весь полк был уже на ногах.

С грустью покидали мы Августово, где отдых после боев и переходов был так приятен.

Двигались форсированным маршем. Непосредственно за полком следовала батарея трехдюймовых пушек из третьей артиллерийской бригады.

Пройдя версты четыре, мы слышали артиллерийскую стрельбу и только тут нам стало понятно, что посланный накануне в сторожевое охранение четвертый батальон вступил в соприкосновение с противником.

Вскоре снаряды стали рваться вблизи нас, а еще через некоторое время над нашими головами.

Дорога от Августова вилась густым лесом и это мешало полку развернуться в боевой порядок.

Наконец, лес поредел. Музеус отдал распоряжение перестроиться по-взводно и перейти с дороги в лес. Бой происходил где-то вблизи. Снаряды, летевшие в нашу сторону, посылаемые противником очевидно наугад, не приносили нам никакого вреда.

Бой в лесу очень напоминает бой ночью — так же трудно, не имея компаса, ориентироваться, так же легко заблудиться. Нам приходилось ориентироваться по грохоту стрельбы впереди. Роты залегли в лесу за деревьями в ожидании новых распоря-

жений. Стрельба становилась все настойчивей, количество немецких снарядов все увеличивалось и увеличивалось — и если мы не несли сейчас потерь, то исключительно благодаря густоте леса; мы могли прятаться за толстыми стволами деревьев.

Музеус переходил от роты к роте, успокаивая солдат. Он говорил, что наш авангард — четвертый батальон — ведет упорный бой с арьергардом немцев, который защищает спешно отходящие главные силы противника, и что мы скоро двинемся вперед. Однако его словам не верилось, так как стрельба не только не удалялась от нас, но, наоборот, с каждой минутой приближалась все больше.

Наша батарея, оставшаяся на шоссе, в свою очередь открыла учащенный огонь по противнику, и снаряды летели над нами в сторону немцев.

Каверин, командир нашего батальона, спешившийся, как только батальону пришлось войти в лес, ходил с растерянным видом между ротами. Вступивший после «ранения» Андреева в командование двенадцатой ротой поручик Цицерон, оправившийся от вывиха ноги, тоже производил впечатление совершенно растерявшегося человека, не знающего, что ему делать. Он поминутно обращался к Каверину с какими-то вопросами, но тот либо отрицательно качал головой, либо разводил руками, показывая, что он ничего не понимает.

К нашей роте снова подошел Музеус. За ним следовал полковой знаменщик со знаменем в руках.

— Знамя передать двенадцатой роте, — приказал Музеус. — Она будет в резерве и, если станем отходить — отступает первой.

Мы поняли, что четвертый батальон не выдержал и что предстоит бой всему полку, за исключением нашей роты, счастливо получившей под свою охрану полковое знамя, после потери которого обычно следует расформирование полка.

Не прошло и нескольких минут после передачи знамени, как мы получили распоряжение двигаться обратно в Августово. Из лесу выбрались не сразу: Цицерон заблудился и не мог найти дороги до тех пор, пока на помощь ему не пришел фельдфебель Новоселов, ориентировавшийся по деревьям. Когда же мы вышли на шоссе, то увидели, что не мы, двенадцатая рота со знаменем в руках — отходим первыми, а четвертый батальон, который дрался впереди с немцами. Батальон в панике бежал по шоссе. Артиллерия тоже на рысях отходила обратно.

Цицерон приказал прибавить шаг. Следом за нами, без соблюдения должной дистанции и интервалов, позабывши о правилах арьергардного охранения, полубежали остальные роты нашего полка. Рядом с нами вприпрыжку, с развевающимися полами плаща, бежал полковник Каверин. Ему трудно было выдержать такую быстроту и вскоре он отстал от нас.

До Августова мы добрались без особых приключений. Здесь ординарцы командира полка передали нам приказ отступать к Казеницам.

Отступление велось одним только нашим полком— других частей на шоссе не было. Шедшие же со стороны Казениц вооруженные солдаты, прибывшие из запасных полков на укомплектование наших поредевших рядов, никем не были остановлены и, как выяснилось на другой день, целиком попали в плен к немцам.

До Казениц мы добежали, без преувеличения, в какие-нибудь полтора-два часа, делая, таким образом, в среднем верст по десять в час, вместо четырех, положенных по уставу. Под Казеницами начальство опомнилось и полк стал приходить в порядок.

Здесь же мы узнали о судьбе четвертого батальона, о том, что произошло с ним.

Высланный, как я уже говорил, в сторожевое охранение, батальон этот вступил в огромное селение и занял его северо-восточную часть. Солдаты были страшно утомлены, а командиры не распорядились обследовать деревню, как следует. Узнав от жителей первых же хат, что немцы ушли накануне, все преспокойно расположились на ночлег. Ночь провели спокойно. Утром же, когда солдаты разбрелись по селению, чтобы достать себе еды, они к величайшему удивлению и страху наткнулись вдруг на отдельных австрийских солдат, которые тоже ходили по хатам в поисках хлеба и других продуктов. Столкнувшись лицом к лицу, и те и другие растерялись, бросились к своим частям и начали беспорядочную стрельбу.

Оказывается, в одну и ту же ночь, в одном и том же селении, но в разных концах его, ночевали наш батальон и австрийский полк.

Австрийцы опомнились первыми и сразу перешли в наступление.

Наш батальон отстреливаясь покинул деревню и стал отступать, послав донесение в полк о том, что на него напал арьергард противника. На самом же деле это был не арьергард отступавших немцев, а авангард двух совершенно свежих австрийских корпусов, направленных главным командованием австрийско-германской армии под Варшаву на смену немцам.

Эти два корпуса и обрушились всей своей тяжестью на четвертый батальон. Понятно, что после боя от него остались только жалкие остатки: командир батальона попал в плен, ротные командиры и младшие офицеры были в большинстве перебиты.

Наш батальонный, Каверин, тоже не вернулся — очевидно, задохнувшись от быстрого бега, попал в плен.

* * *

Следующие три дня мы пробыли в резерве.

Впереди на опушках леса не утихали бои, о чем свидетельствовала непрерывная бомбардировка и раненые, тянувшиеся к Казеницам, в которых были разбиты перевязочные пункты. Количество раненых

огромное. Шли они бесконечной вереницей, в затылок друг другу, кто с перевязанной головой, кто с перебитой рукой; тяжело раненые, очевидно, оставались на месте.

Поражало обилие раненых в руки — в ладонь и пальцы. Влитое в полк, перед переходом через Вислу, пополнение из запасных батальонов оказалось выбитым из строя в первую очередь; среди них и было, главным образом, большинство раненых в руки.

Бои, видимо, принимали особенно ожесточенный характер. Численность австрийцев безусловно превосходила наши части, и наступали они с необычайным упорством. Навстречу им, мимо нас, шли все новые и новые полки. Я насчитал не менее двадцати новых частей не нашего корпуса, направляемых в бой.

Наконец, и наш полк получил распоряжение двинуться вперед — на западную окраину Казениц, где мы должны были занять и оборонять всеми силами большой участок леса. Солдаты шли с тяжелым сердцем: выдержать наступление и защитить во чтобы то ни стало свой участок — это значило, что нам придется оставить на месте добрую половину полка.

Почти весь день пролежали мы в лесу, в ожидании австрийских частей, но, кроме рвавшихся в воздухе снарядов, ничего не было видно.

С наступлением темноты полк вывели из лесу в поле.

Расположились бивуаком на заброшенном кирпичном заводе. Со всех сторон раздавался грохот канон-

нады, с огненными вспышками рвались шрапнели, в небе стояли зарева пожаров — и так продолжалось до утра.

С рассветом Музеус снова повел полк в лес. Однако стрельба со стороны противника утихла, и днем нам было объявлено, что победа осталась на русской стороне.

Австрийцы отступили.

К вечеру 11-го октября полк снова двинулся в селение Августово, в котором так хорошо началась несколько дней тому назад дневка. Наученный горьким опытом, Музеус принял все меры предосторожности, и мы шли с быстротой не более двух верст в час, выслая глубоко вперед дозоры.

Во время обратного движения к Августову двенадцатая рота потеряла своего временного ротного командира поручика Цицерона.

Что представлял из себя Цицерон? Сын батальонного командира, полковника Цицерона, еще молодой поручик, он славился в мирное время в Туле своими дебошами в трактирах и ресторанах. Все знали его, как страстного картежника и пьяницу ко всему этому больного сифилисом. Когда была объявлена мобилизация, он, стараясь остаться в тылу, уверял врачей, что заболел дезинтерией. Увильнуть от поездки на фронт ему, однако, не удалось — через неделю, после госпитального испытания, его отправили догонять полк. Прибыв на фронт, он получил назначение в двенадцатую роту и во время ночного боя на Висле первым бежал с поля сражения.

Все дни последующих боев на Висле Цицерон числился больным. Только после «контузии» Андреева и категорического приказа Музеуса немедленно «выздороветь» он вернулся в роту. Во время сражений и перестрелок он трусливо останавливался при каждом разрыве и озирался на каждый, пролетевший вблизи или вдали, артиллерийский снаряд.

По пути в Августово Цицерон первые несколько верст шел впереди роты, разговаривая с фельдфебелем. Затем, когда стали слышны выстрелы, он отстал от роты под предлогом, что ему надо «оправиться»,— а часа через полтора нам сообщили, что Цицерон ранен и отправился на перевязочный пункт. Ранен он был в ладонь правой руки, а т. к. до этого места австрийские пули не достигали, я не сомневаюсь, что он, заразившись примером некоторых трусливых солдат, попросту симулировал ранение.

* * *

Командование ротой перешло к фельдфебелю Новоселову, который и руководил движением и операциями роты по дороге к Августову.

Приблизившись к селению, полк сошел с шоссе и рассыпался по опушке леса. Мы окопались и пролежали в этих временных окопах всю ночь.

На рассвете полку приказали атаковать и занять деревню.

Австрийцы засели на дальнем конце ее, не переставая отстреливаться.

Августово, еще несколько дней тому назад совсем не тронутое и имевшее цветущий вид, сейчас представляло из себя безобразное пепелище. Почти вся деревня выгорела. Населения не было видно — очевидно крестьяне попрятались в погребах и подвалах. По улицам, не обращая внимания на свистевшие кругом пули, бродили стада свиней. Солдаты безжалостно уничтожали их, т. к. все мы не ели уже два дня.

Стрельба не прекращалась в течение всей ночи и затихла только с рассветом. Высланные вперед разведчики, вернувшись, донесли, что австрийские окопы пусты. Наши роты весело вошли в деревню и первое, что предстало пред глазами солдат, — это наши русские винтовки, воткнутые штыками в землю. Целый батальон недавно прибывшего из тыла Красноставского полка, занимавший восточную половину Августова, сдался в плен австрийцам, не сделав из своих новеньких винтовок ни одного выстрела.

Постепенно на улицах появились крестьяне. Они бродили вокруг обгоревших хат, подбирали разбросанные повсюду остатки домашних вещей и инвентаря и своим убитым видом наводили тоску и уныние на нашего брата, крестьянина в солдатской шинели.

В тех местах, где идут бои, положение жителей более чем ужасно. Беззащитные и не знающие, куда деваться, они одинаково страдают от обоих воюющих сторон. Пожары и артиллерийские обстрелы уничто-

жают их имущество, население гибнет под ружейными и шрапнельными пулями. Война не щадит никого ни взрослых, ни детей, и мы с таким же рвением сжигаем свои деревни, стремясь поразить противника, как немцы, стреляя в нас, уничтожают свои.

В одной из уцелевших хат к концу дня образовался своеобразный лазарет, заполненный изувеченными крестьянами. Я видел нескольких детей с оторванными ногами, видел умирающую пятнадцатилетнюю девочку, раненую шрапнельной пулей в живот. Тут же с оторванной рукой лежала ее мать...

Ноябрь

Все дороги и пути от Казениц до Радома и дальше до немецкой границы оказались разрушенными. Железнодорожное сообщение могло быть восстановлено саперными частями только через несколько недель. Шоссейные дороги, по которым двигались наши войска, были в свою очередь взорваны перекисиловыми шашками и обозам пришлось идти стороной, по проселкам. Все это задерживало движение нашей армии. Питаться приходилось исключительно за счет местного населения.

До самого Радома столкновений с противником почти не было. Лишь изредка наши авангарды сближались с вражеским арьергардным охранением и тогда происходили короткие схватки, оканчивавшиеся обычно захватом в плен нескольких австрийцев.

В Радоме нашими частями было взято много военных трофеев — артиллерийских парков, запасных снарядов, амуниции и продовольствия.

Когда мы проходили через город, все население высыпало на улицу. Городские власти приветствовали вступивший полк хлебом и солью. Хотя никто и не верил в искренность этого, Музеус произнес все же ответную речь, в которой заверял горожан, что наступление немцев уже не повторится и что жители могут быть спокойны под защитой идущего вперед русского войска.

По выходе из Радома полку было приказано перейти вправо и быстрым фланговым движением настигнуть отступающие австрийские части.

Через три дня к нашему полку присоединился начальник нашей дивизии генерал Ползиков. «Солдатский вестник» передавал, что мы уже обогнули австрийские части и что с минуты на минуту можно ожидать перехода в наступление на фланги австрийцев с тем, чтобы добить их окончательно.

Вскоре мы действительно получили распоряжение подготовиться к бою. Правильно развернутыми цепями нас расположили вдоль Келецко-Радомского шоссе.

Отступление австрийской армии, которую мы и в самом деле опередили, прошло на наших глазах. По шоссе двигались пехотные колонны австрийцев, затем их обоз, затем опять пехота и наконец артиллерия.

Начальник дивизии, генерал Ползиков, несколько раз вместе с Музеусом приходили на участок нашей роты. Они смотрели в бинокль на быстрое движение австрийских частей и чего-то ждали. Полк лежал в подготовленном к боевым действиям положении до вечера, а австрийцы продолжали двигаться на расстоянии ружейного выстрела без каких-либо помех.

Наши ожидания, что начальство прикажет перейти в атаку, не оправдались, против чего мы, само собой разумеется, никаких возражений не имели. Однако нераспорядительность генерала Ползикова, очевидно, стала известна высшему командованию, ибо через несколько дней приказом по армии он был снят с должности. Вместо него начальником дивизии назначили генерал-лейтенанта Булатова.

* * *

К нам назначили нового ротного командира — прапорщика Ханчева.

Ханчев перед войной окончил петербургский политехнический институт. По внешности и по манерам он производит впечатление глубоко штатского человека. Свои приказания он отдает не тем принятым в армии, командным тоном, который вырабатывается у профессионалов-военных, а тоном штатского человека. Когда он командует, кажется, что он обращается к солдатам с просьбой и что можно ему возразить или вовсе не исполнять его приказания.

Фигура Ханчева постоянно вызывает у солдат веселое настроение. Идя за Ханчевым, мы частенько подтруниваем над ним, почти вслух; он делает вид, что ничего не замечает.

Как-то во время похода солдаты моего отделения особенно разошлись.

Ханчев приказал — вернее попросил — вести себя потише. В ответ кто-то фыркнул. Тогда Ханчев рассердился и произнес:

— Ну, вы, смотрите у меня, буду ругаться по ма-тушке.

Эта фраза, сказанная раздраженным и в то же время неуверенным тоном, вызвала с нашей стороны такой неудержимый взрыв хохота, каким мы не смеялись, по крайней мере, с самого начала войны.

Вступили в Кельцы.

* * *

Так же, как и в Радоме, городские власти встретили полк с хлебом и солью, а Музеус произнес несколько фраз о доблести и непобедимости русской армии и о том, что в ближайшие дни ни одна неприятельская нога не останется на русской земле.

После двухдневного пути от Кельц произошел довольно любопытный случай.

Нам пришлось переходить мост, перекинутый через болото, за которым начинался лес. Как только авангардная рота вступила на него, раздались частые

выстрелы из винтовок и пулеметов. Предполагая, что впереди крупные силы противника, полк развернулся в боевой порядок. Однако, через несколько минут стало известно, что роту обстреляли несколько разведчиков-велосипедистов, которые после обстрела быстро умчались.

В результате у нас было двое убитых и несколько раненых.

Убитых решили похоронить в ближайшей деревне. Роты выстроились, и полковой поп начал служить панихиду. Во время панихиды раздался вдруг панический возглас:

— Кавалерия!

Все сразу шарахнулись в разные стороны, давя друг друга и ломая встретившийся на пути забор. На месте остался только Музеус и священник — остальные постыдно и стремительно бежали. Потребовалось не менее получаса, чтобы успокоить ни с того, ни с сего начавшуюся панику. В действительности никакой кавалерии не было.

Следующая остановка была сделана в деревне Химнице.

Здесь мы впервые встретились с неприязненным отношением со стороны местных жителей. В хате, где мне пришлось расположиться со своим взводом, старуха-хозяйка злобно смотрела на солдат и все время бормотала что-то на польском языке. По отдельным словам можно было судить, что она призывала на наши головы все громы божии. Особенно же озлоби-

лась старуха, когда из ее кладовки пропал горшок с медом. Она ворвалась в хату с растрепанными волосами, с безумно расширенными глазами, бросилась на колени перед иконой ченстоховской божьей матери и, ломая руки, ударяя себя в грудь, визгливо проклинала нас и всех русских солдат вообще.

Ночь провели спокойно. Нападений со стороны противника не было. Впрочем, первая полурота, во главе с Ханчевым, ночевавшая в соседнем фольварке, столкнулась с группой гулявших там немецких офицеров. Двоих из них взяли в плен, отобрав оружие и документы. На допросе в штабе полка они держали себя вызывающе и никаких сведений о немецких частях не дали.

ГЛАВА VII

ПОД ЧЕНСТОХОВЫМ

Ноябрь

После обильно ливших в последнее время дождей, сразу наступила зимняя погода. Выпал снег и установился мороз, временами достигающий двадцати градусов.

Позиция, занятая полком на юго-западной опушке леса Острожежника, верстах в двенадцати севернее города Ченстохова, находилась на расстоянии не более пятисот шагов от немецких окопов.

Наши окопы были замаскированы деревьями, и это позволяло солдатам спокойно выбираться из них, чтобы размять усталоющее от неподвижного сидения тело.

Морозы застали нас в летнем обмундировании. Обувь, полученная еще в Туле, за время продолжительных походов поистрепалась и у большинства

солдат сапоги «просили каши». Летние портянки не грели. Особенно скверно приходилось тем из солдат, кто проводил ночь на сторожевых постах. Только тут мы пожалели о выброшенных нами перед выходом из Устилуга набрюшниках и башлыках — какие хорошие из них получились бы портянки!

Жизнь в окопах, в таком близком соседстве от немцев, держала нас постоянно настороже — каждую минуту можно было ожидать наступления с их стороны и мы спали не раздеваясь. Самые окопы были очень неудобны — сооружались они без соблюдения правил фортификации и скорее напоминали зигзагообразные канавы. Рядом с окопами солдаты сами, без каких либо указаний сапёрных частей, вырыли землянки — глубокие ямы, прикрытые несколькими слоями бревен, пересыпанных слоями земли. Здесь мы чувствовали себя достаточно укрытыми от снарядов, но зато не было никакого спасения от холода. Пролежать целый день в землянке было совершенно невозможно — приходилось выбегать наружу и согреваться бегом на месте.

Сначала мы попробовали было устроить в землянках нечто вроде печей, но временно командующий батальоном полковник Иванов, заметив дым над землянками, строжайше запретил разводить огонь, так как немцы мол, по дыму обнаружат месторасположение окопов и начнут артиллерийский обстрел. На наш взгляд это запрещение казалось совершенно бессмысленным — немцам все равно было известно наше

расположение, так же как и мы знали, где расположены окопы немцев. Досаднее же всего было то, что над немецкими окопами мы с утра и до вечера видели дым. Очевидно, они нисколько не боялись отапливать свои убежища...

Неподвижное сидение на мерзлой земле во время сильных морозов вызвало среди солдат заболевания. Люди десятками выбывали из строя — у меня из взвода ежедневно по несколько человек уходило на перевязочный пункт с отмороженными пальцами рук и ног.

После затишья, продолжавшегося несколько дней, в первых числах ноября начались периодические и довольно сильные обстрелы наших позиций тяжелыми брзантными снарядами. Стрельба начиналась обычно часов в девять утра и на протяжении какого-нибудь часа немцы выпускали не менее ста тяжелых снарядов. В полдень, когда прибывали кухни с пищей, стрельба возобновлялась и стихала для того, чтобы возникнуть снова часов в шесть вечера.

Обстрел этот не наносил нам сколько-нибудь серьезных поражений, так как точности в стрельбе не было. Снаряды рвались в лесу. Насколько мощны были разрывы, можно судить по тому, что вековые деревья, толщиной в обхват и больше, валились от осколков снарядов, рвавших где-нибудь рядом.

Самым неприятным и угнетающим в этом обстреле был звук полета снаряда: сначала слышишь отдельный выстрел, затем нечто похожее на хлюпанье боль-

шого поросенка; самый же взрыв настолько оглушителен и так сильно сотрясает землю, что в наших землянках и окопах нередко случались обвалы, и земля придавливала находящихся в них солдат.

Морозы установились надолго.

Начались сильные ветры, с обильным снегопадом, после которых ненадолго наступала оттепель, образующая гололедицу. Мои сапоги пришли в такое негодное состояние, что мне приходилось при выходе из землянки обматывать ноги единственной запасной парой белья. Долго я крепился и переносил холод, но наконец не выдержал — отправился к фельдфебелю за разрешением пойти в полковой околоток.

Околоток был устроен неподалеку от штаба полка, в Острожежниках, в лесу, под навесом из молодых, свежесрубленных деревьев. Несмотря на ранний час, приема врача ждало уже человек сто. У всех была одна болезнь — отмороженные руки и ноги.

Принимал доктор Блюм.

Он заставлял снимать сапоги и осматривал ноги; затем фельдшер смазывал отмороженное место вазелином. Сильно обмороженных оставляли на несколько дней для отдыха при околотке, где можно было беспрепятственно разводить костры.

Когда наступила моя очередь, Блюм, осмотрев мои ноги и расспросив об условиях жизни в окопах, сказал, что пока признаков обмороживания нет, но весь организм настолько истомлен, что мне необходимо дня четыре провести в тепле, в одной из ближайших дере-

вень, в тылу полка. Кроме того Блюм посоветовал как можно скорее заменить худые сапоги другими, более крепкими. На мое замечание, что в таких сапогах ходит весь полк и что ни у кого нет теплых портянок, Блюм ответил:

— Музеус принимает все меры, да интенданты что-то медлят с высылкой.

ГЛАВА VIII

НА РЕКЕ НИДЕ

Декабрь

Под напором немцев, вновь началось отступление—куда более быстрое, чем недавнее продвижение вперед.

Через несколько дней сдали Кельцы. Здесь нас сменили части другого корпуса, наш же семнадцатый корпус был направлен на юго-западный фронт, против австрийцев.

Когда, после нескольких дней флангового походного движения, мы приблизились к устью реки Ниды, в полку обнаружили случаи заболевания холерой.

Места, по которым пришлось продвигаться полку месяц тому назад, были заняты австрийскими частями. По словам местных жителей, холера появилась еще при них.

У нас заболевания носили сначала единичный характер, но чем ближе подходили к устью Ниды, тем

больше и больше заболело народу. Наконец, по распоряжению свыше полк был поставлен в карантин.

Для этого заняли одну из деревень. Вокруг деревни была выставлена охрана, никого не пропускавшая за околицу.

В какие-нибудь три-четыре дня слегла половина полка.

Замещавший Музеуса, вызванного в штаб армии, полковник Самфаров издал особое распоряжение о том, как предохранить себя от заразы. В нем Самфаров предостерегал нас от употребления в пищу свежей свинины и птицы, писал, что солдаты должны пить только кипяченую воду с лимонной кислотой, которая в изобилии отпущена ротам, и соблюдать строжайшую чистоту, для чего перед едой все должны обязательно мыть руки. Всякого, заболевшего расстройством желудка, приказывалось немедленно отправлять на освидетельствование к врачу.

Насколько действительны были эти меры можно судить по тому, что на весь мой взвод, например, на сорок человек, была отведена всего одна хата, в которой мы принуждены были спать на полу, вповалку, точно сельди в бочке. Грязь в деревне стояла необычайная, тем более, что после мучивших нас недавно морозов опять лили бесконечные дожди, превращавшие улицы деревни в непроходимые болота.

Несмотря на грязь и общую скученность, солдаты следили за чистотой, как никогда. Жидкая глина

около хат постоянно расчищалась, двор посыпался песком. Почти каждый день часть людей роты посылалась на уборку того района деревни, где находятся хаты, занятые больными.

У меня во взводе заболело человек десять. Характерно, что в первую очередь заболели солдаты-татары, несмотря на то, что они особенно тщательно принимали меры предосторожности. За татарами стали валиться и русские.

В один из нарядов по уборке холерного района от нечистот оказался назначенным мой взвод.

Хаты были набиты больными до отказа и нельзя было без содрогания смотреть на все, что делалось внутри них. Люди корчились в судорогах, извиваясь всем телом и изрыгая остатки пищи. Многих, не евших уже в течение нескольких дней, рвало какой-то страшной зеленой жидкостью. Лица больных, острые, бледно-синие, казались неживыми, и лишь судорожные движения, вызванные рвотой, указывали, что они еще живы. Полковые санитары сбивались с ног, бегая от одного больного к другому.

Наблюдение со стороны врачей полка было образцовое.

Особенно выделялся своей внимательностью и заботливостью Блюм, ставший к этому времени старшим врачом полка. Увидев меня, он дал мне несколько советов. Прежде всего он советовал как можно больше есть, отнюдь не ограничиваясь солдатским пайком,— есть жареную или вареную свинину, пить побольше

чая и ни в коем случае не оставлять желудок ненаполненным.

Я возразил, что это противоречит официальному распоряжению, изданному штабом полка, но Блюм, смеясь, объяснил мне, что нелепое распоряжение Самфарова издано вопреки протесту старшего врача.

— Карантин может затянуться надолго, — сказал он, — и если бы не припугнули солдат, для офицеров, пожалуй, ни одной бы курицы не осталось.

— Но ведь это безобразие, — возмутился я, — ведь наши солдаты думают, что могут заболеть именно от еды, и не съедают даже полностью свою солдатскую порцию!

— Так вот, — ответил Блюм, — вы скажите им, чтобы они не стеснялись. Пусть только не мародерничают, чтобы не озлобить местных жителей.

Само собой разумеется, после этого разговора в хате моего взвода почти круглые сутки топилась плита, уставленная котелками со свининой и куриной.

* * *

Карантин продолжался дней десять.

Когда, благодаря принятым мерам, холерные заболевания пошли на убыль, поступило распоряжение двигаться дальше, по направлению к Новому Корченю.

Раньше я думал, что заболевания холерой непременно кончаются смертью. Однако, на деле это было

далеко не так. Солдаты, заболевшие в походе, до карантина, догнали нас в Новом Корчене уже совсем здоровыми. Крепкий организм побеждал холеру не более, чем в две недели. Больше всего смертных случаев было с солдатами-татарами. Чем объяснить это — не знаю.

В новый Корчень мы вступили за несколько дней до рождества. Нас оставили на несколько дней в резерве, чтобы дать солдатам отдохнуть после эпидемии и карантина.

26 декабря

В ночь под рождество наш отдых окончился. Полк двинули ближе к позициям, и ночевать нам пришлось в крошечной деревушке, все хаты которой были заняты штабом и офицерами; солдатам пришлось размещаться по стадолам.

На долю нашей роты выпал собственно даже не стадол, а нечто вроде навеса, ничем не защищенного с боков — не было даже плетней. В лучшем случае этот навес мог бы защитить от дождя, но никак не от холода. Он был совершенно пуст, и нам предстояло или провести ночь на ногах или же ложиться, прижавшись друг к другу, прямо на мерзлую землю.

Теплая погода давно уже была позабита — снова стояли лютые морозы. Солдаты сразу же стали зябнуть. У всех мерзли ноги и руки, синели лица, и если

кто-нибудь от усталости решался сесть на землю, то не мог просидеть и нескольких минут — вскакивал и начинал бегать по стадолу или вокруг него. Находившаяся поблизости небольшая халупа, занятая офицерами, казалась нам чем-то вроде недосягаемого дворца. Под всевозможными предложениями солдаты старались забежать на несколько минут в эту хату, чтобы хоть чуточку погреться, но хата была настолько мала, что даже разместившиеся в ней офицеры лежали просто на полу. Чердак был занят «привилегированными», вроде ротных санитаров, ротного писаря, фельдшера и каптенармуса.

С нетерпением ждали мы утра, чтобы избавиться от мучений. Нам казалось, что даже в окопах, как ни будь они плохи и опасны для жизни, будет теплее.

* * *

Наутро, в первый день рождества, не принеший солдатам ничего хорошего, кроме двойной порции пищи, к нам в роту прибыл капитан Савицкий, бывший ранее младшим офицером одиннадцатой роты. Он принял должность ротного командира, прапорщик же Ханчев остался у нас младшим офицером.

Весь день мы провели в походе. Савицкий знакомился с унтер-офицерами, много шутил, громко рассказывал скабрзные анекдоты, хохотал и вообще производил впечатление живого, веселого и нетрусливого человека. Обращаясь ко мне, он спросил,

кадровый ли я. Я ответил утвердительно. На вопрос был ли я в боях и не имею ли георгиевский крест—пришлось ответить, что в боях был, но креста не имею.

— Так вот, Оленин, — сказал Савицкий, — сегодня предстоит большое дело. Если ты со своим взводом сумеешь отличиться, я обещаю тебе георгиевский крест.

Мы двигались правым берегом Ниды, очень высоким, гористым. Переходя из ущелья в ущелье, рота все больше приближалась к австрийцам. Наконец весь батальон был остановлен в ожидании дополнительных указаний штаба полка. Вместо немедленного наступления, как это ожидали мы, нам приказали занять исходный пункт для атаки, назначенной на следующий день.

По распоряжению командира батальона наша рота вышла в сторожевое охранение. Это означало, что на следующий день мы будем в резерве.

Ночь прошла спокойно. На рассвете нас сменили и отвели вниз, к реке, где мы и разместились в нескольких хатах какого-то хуторка.

По ротам было объявлено, что в полдень после того, как ураганным огнем нашей артиллерии будут снесены проволочные заграждения, в изобилии поставленные перед окопами австрийцев, весь полк перейдет в атаку. Участок неприятельских окопов, которые предстояло атаковать, был хорошо виден. Он нависал над крутым берегом Ниды и внешне казался совершенно недоступным.

Ровно в двенадцать часов слышались выстрелы наших батарей. Мы ждали ураганного огня, но убедились, что наш обстрел далеко не похож на тот, какой приходилось нам переносить на своих головах в предыдущих сражениях со стороны немцев и австрийцев. Вместо ураганного огня мы слышали редкие методические выстрелы — не более одного выстрела в минуту тяжелым снарядом и одной-двух очередей легкими. К часу дня, когда было выпущено несколько десятков тяжелых снарядов и несколько сот легких гранат и шрапнелей, нам сообщили, что артиллерийская подготовка закончена и что пехота должна идти в атаку. Это было похоже на издевательство: проволочные заграждения австрийцев остались так же сильны, как и были; наша артиллерия не только не смела их, но даже не сделала в них ни одного прохода!

Итти через нетронутые проволочные сети было суждено второму батальону.

Стоило только ему подняться на гору, как со стороны австрийцев был открыт такой бешеный артиллерийский и пулеметный огонь, какого я никогда еще не слыхивал. Все кругом гудело, со всех сторон неся непрерывный грохот разрывов, и через несколько мгновений цепи второго батальона скрылись в клубях дыма и взрытой земли.

Вскоре стало известно, что второй батальон, достигнув с огромными потерями проволочных заграждений, залег под проволокой и уничтожается ружейным и пулеметным огнем,

Необходимо было срочно выслать помощь. Так как наша рота была в резерве, Савицкий вызвал меня и, напомнив про обещанный накануне георгиевский крест, приказал мне вместе с моим взводом направиться в распоряжение командира второго батальона.

Послав его мысленно вместе со всеми георгиевскими крестами к чорту, я скомандовал своему взводу:

— Вперед!

Артиллерийский обстрел не прекращался и, чтобы дойти до второго батальона без крупных потерь, нужно было искусно маневрировать. Применяясь к звукам стрельбы и к направлению летящих над нами снарядов, вытянув взвод в редкую цепочку, гуськом, я, шагая во главе взвода, не торопясь двинулся к участку второго батальона.

Помог ли нам счастливый случай, или мы сумели приспособиться к движению под огнем противника — но так или иначе мой взвод нетронутым добрался до своей цели. Я доложил командовавшему батальоном капитану Соболеву, что прибыл в его распоряжение, и сразу получил приказание подняться в гору и выйти к проволочным заграждениям на смену или вернее на место уничтоженной восьмой роты.

Я возразил, что капитан Савицкий приказал нам быть резервом, но Соболев, свирепо взглянув на меня и выкрикнув несколько «матов», приказал не рассуждать.

Пришлось подчиняться. Снова, вытянув взвод в цепочку, мы тронулись вперед, но не прошли и пол-

пути, как натолкнулись на сбегающих вниз солдат.

— Куда? — крикнул мне подпрапорщик Седых, — мы уходим назад. Куда вы лезете?

— Иду выполнять распоряжение командира батальона, — ответил я.

— Ну и чорт с вами, выполняйте, — озлобленно выкрикнул он, — а нам тут делать больше нечего.

Задержав взвод на пол-горе, я поднялся дальше один.

Моим глазам представилась жуткая картина: совсем рядом, на вершине горы виднелись окопы австрийцев, а перед ними три ряда проволочных заграждений, совершенно сохранившихся; по склону лежали в огромном количестве убитые русские; часть их повисла на проволоке — очевидно это были те безумцы, что пытались, выполняя приказ, перелезть через заграждения; залегшая под проволокой цепь не подавала признаков жизни — это была цепь мертвецов...

Подавленный и угнетенный вернулся я к своему взводу и послал Соболеву донесение с просьбой о дополнительных распоряжениях. Соболев приказал нам присоединиться к остаткам второго батальона. Спустившись вниз к реке, мы, вместо воинской колонны или части, готовой к наступлению, увидели нескольких, сгрудившихся в одну кучу солдат, совершенно обессиленных всем происшедшим.

Австрийские окопы были недоступны — расположенные на горе, они флангом своим упирались в бо-

лото, по которому текла Нида, и обойти их стороной было невозможно. Мы оказались как бы в тупике: нам оставалось либо отступить назад, либо погрузиться в реку.

Пока Соболев расспрашивал оставшихся в живых людей, я привел свой взвод в порядок на случай отхода или наступления австрийцев.

Вдруг сверху послышался отчаянный крик какого-то оставшего солдата:

— Австрийцы наступают!

Этого было достаточно, чтобы Соболев и бывшие с ним младшие офицеры, бросив солдат, пустились наутек. Солдаты в панике кинулись за ними — частью по дороге назад, часть вниз, к реке. Мой взвод тоже заколебался. Быстро оглянувшись по сторонам и не видя наступающих австрийцев, я приказал:

— Ни с места!

Когда солдат, вызвавший своим криком панику, поровнялся со мной, я окрикнул его:

— Где видишь австрийцев, там вверху на горе, в окопах, или они идут вниз?

— В окопах, наши побиты!

— Так чего же ты кричишь, что австрийцы наступают?

И не утерпев, я дал ему такого подзатыльника, что он отлетел шагов на пять вниз.

Мои солдаты рассмеялись, успокоились.

Понимая, что делать нам здесь нечего, я послал своему ротному командиру Савицкому полевую за-

писку, в которой спрашивал, как мне быть. В ответ получил распоряжение немедленно присоединиться к роте. По дороге неожиданно натолкнулся на капитана Соболева.

— Ты куда? Кто тебе, сукин сын, разрешил? — разразился он.

— Получать распоряжения было неоткуда, кроме как от своего ротного командира, — ответил я. — По его распоряжению присоединяюсь к своей роте.

— Я тебя под суд отдам! — закричал Соболев, топая ногами.

Я посмотрел на него, иронически улыбнулся и командовал: — Взвод за мной, — последовал дальше.

Обратный путь был спокойнее, так как австрийцы, отбив атаку второго батальона, уgomонились.

Разыскав Савицкого, я доложил ему о всём происшедшем. Он расхохотался, сказав, что Соболев большой дурак и трус, и предложил мне расположить взвод на отдых.

Обследовав одну из гор, за которой можно было свободно укрыться от обстрела, я приказал людям своего взвода рыть землянки и окопы. Через какой-нибудь час мы уже устроили нечто подобное навесу, разобрав для этого оказавшийся по соседству сарай, разложили костер, вскипятили чай. Несколько солдат отправились в расположенные недалеко халупы в поисках картофеля. Поиски эти были небезуспешны, и мы, изрядно поужинав, долго разговаривали — делились впечатлениями сегодняшнего дня и трунили

над трусостью Соболева, для которого было достаточно одного возгласа о наступлении австрийцев, чтобы немедленно удрать.

Впрочем, оно и понятно: трудно удержаться от бегства, когда не чувствуешь организованной силы, когда не можешь встретить противника организованным отпором. А тут еще гибель почти целого батальона! Что бы я сделал на месте Соболева?... Очевидно то же самое — если бы только у меня не было в руках послушной части, заранее приведенной в порядок.

* * *

На следующий день из дивизии поступило распоряжение снова атаковать австрийцев.

Штабной ординарец рассказывал нам, что Музеус категорически противится этому распоряжению, указывая на мощность укреплений австрийцев и на слабость нашей артиллерийской подготовки.

— Только в том случае полк пойдет в наступление, — говорил будто бы полковник, — если вы подчините мне артиллерийскую бригаду и если она выпустит столько снарядов, сколько я прикажу.

На слова Музеуса не обратили никакого внимания. Тогда, учитывая вчерашний опыт, он послал в наступление не целый батальон, а лишь незначительную часть людей первого батальона, при чем приказал солдатам быть как можно более осторожными и беречь

себя. Командовавший батальоном подполковник Нехлюдов со своей стороны тоже отдал распоряжение продвинуться только до вершины горы, и в случае сильного сопротивления противника, не подвергать людей напрасной гибели, а окопаться на вершине.

Эта операция была проведена довольно удачно. Батальон закрепился на вершине горы, не делая попыток выбить австрийцев из их сильно укрепленных позиций, — но Музеусу не прошли даром его возражения: приказом по дивизии его отстранили от командования полком и назначили командующим дивизионным резервом, — т.-е. частью не больше одного батальона.

Вместо Музеуса временно командующим полком был назначен полковник Самфаров.

Самфарова еще по мирному времени, когда он командовал вторым батальоном, знали, как человека чрезвычайно увлекающегося искусством. Он постоянно организовывал спектакли и концерты и выступал в них сам — не имея ни музыкального, ни вокального дарования. Его пристрастие к театру всегда служило мишенью насмешек и шуток для всех офицеров полка.

Небольшого роста, лысый, с маленькими, постоянно бегающими блестящими глазками, тучный, на коротких ногах — он выглядел очень комично. Когда я его увидел впервые, он произвел на меня впечатление катящегося шара.

Здороваясь с солдатами, он, с расплывшейся на физиономии улыбкой, вскрикивал:

— Здорово, голубчики!

На походах, перед местом привала или ночлега он останавливался за версту до назначенного пункта, отходил от дороги в сторону, пропускал мимо себя солдат и, приложив руку ко рту, в виде рупора, кричал:

— Дуню!

Дуня — это солдатская, почти непечатная песня. Проходя мимо Самфарова, солдаты во всю глотку распевали ее.

В боевом отношении, как передавал «Солдатский вестник», Самфаров был ограничен и предпочитал военным операциям беседы с полковым попом где-нибудь в хате, сидя за сытным блюдом. Ел он поразительно много и жадно, напоминая собой толстое, хрюкающее животное.

После назначения Самфарова командующим полком все приуныли, предчувствуя, что теперь придется нести мытарств куда больше, чем при Музеусе, так как Самфаров будет, по всей вероятности, выполнять даже самые абсурдные приказания Булатова.

Вскоре последовал приказ о новом «наступлении». Однако, офицеры уже перестали быть дураками и разыграли наступление так же, как сделал это первый батальон — несколько продвинулись вперед, заняли определенный рубеж, окопались и донесли, что дальше двигаться нельзя.

Таким образом постепенно образовались окопы полка на вершине горы над рекой Нидой.

Январь 1915 г.

Начало января двенадцатая рота провела в резерве. Затем мы попали в окопы и просидели в них без движения до смены всей нашей дивизии другими частями.

Во время окопного сиденья, продолжавшегося до двадцатого января, был получен приказ по армии о наградах за боевые отличия целого ряда солдат нашего полка, в том числе и меня — за бои на Висле.

Получение награды вызвало у меня, так же, как и у других, некоторое удовлетворение, ибо это свидетельствовало о должной оценке наших боевых качеств. Принесенные из штаба полка крестики были торжественно прикреплены к нашим шинелям, и это вызвало у части солдат уважение к нам, а у иных — чувство зависти.

Вскоре после этого мы узнали, что в полк приезжает командующий армией генерал Лейчицкий. Каждая рота должна была послать на показ ему по два солдата, из числа наиболее отличившихся за все предыдущие бои. Из нашей роты послали меня и Панова.

Когда мы пришли в штаб полка, нас встретил полковой адъютант Максимов. Выстроив солдат перед полковой канцелярией, он долго поучал, как надо приветствовать Лейчицкого, когда он будет здороваться с нами.

Вскоре к нам вышел генерал, небольшого роста, худенький в шинели мирного времени, украшенной

офицерским георгиевским крестом, с живыми умными черными глазами, подвижной с порывистыми движениями. После общего приветствия, Лейчицкий быстро обошел выстроившихся солдат, спрашивая каждого из нас — какой роты, в каких был боях, какие имеет награды и т. д. Когда он спросил, какие награды имею я — я ответил, что имею крест четвертой степени и представлен ко кресту третьей степени.

Шедший сзади Лейчицкого адъютант в форме генерального штаба нес в шкатулке георгиевские кресты. Получив от солдат ответ, генерал быстро поворачивал к нему голову, называя степень креста, какую следует выдать тому или иному солдату. Те, кто не имел никакой награды, получали крест четвертой степени, кто имел четвертую степень — получал третью, кто имел третью — получал вторую и т. д.

Выслушав мой ответ, Лейчицкий обратился к адъютанту со словом:

— Второй!

И через секунду мне на грудь был приколот крест второй степени.

Обойдя таким образом строй и раздав кресты всем солдатам, прибывшим от рот, Лейчицкий произнес несколько общих фраз, вроде:

— Служите родине, царю и отечеству.

После того, как генерал ушел в канцелярию, Максимов распустил нас обратно по ротам.

Появление мое с крестом второй степени вызвало общее удивление.

— Ну, тебе недалеко и до прапорщика, — сказал Савицкий.

Меня же, откровенно говоря, получение этого креста ни за что ни про что — не удовлетворяло. Если я и был чем-нибудь доволен, так исключительно выгодой, которая заключалась в прибавлении к моему шестирублевому унтер-офицерскому жалованью еще восьми рублей — своего рода пенсии, выдаваемой лицам, имеющим георгиевский крест второй степени.

* * *

20-го января ночью нас должны были сменить части другой дивизии.

Нам приказали заранее приготовить к сдаче окопы, землянки и патроны, в изобилии находившиеся в наших окопах, и объяснить вновь прибывающим солдатам, где расположены окопы австрийцев.

Смена произошла в двенадцать часов ночи. Передав наш участок взводному унтер-офицеру, пришедшему на мое место, я вывел солдат из окопов и направился следом за другими взводами, уже спустившимися вниз, на присоединение к полку, местом сбора которого было назначено местечко Новый Корчень.

Когда мы отошли от оставленной позади позиции версты на три, я хватился бинокля. Бинокля не было — очевидно я позабыл его в землянке, а так как он принадлежал ротному командиру и за его утрату мне могло здорово влететь, я передал командование отде-

ленному командиру Попову и поспешил обратно. Вернувшись в землянку и разыскав забытый в ней бинокль, я побежал догонять роту.

Из-за гололедицы итти было трудно, скользко — я несколько раз падал. Несмотря на всю мою поспешность, полка в Новом-Корчене я уже не застал. Пришлось в одиночку двигаться дальше, заранее зная, что до места остановки полка я вряд ли смогу его догнать, так как отстал почти на два часа.

Светало. По дороге изредка попадались отдельные отставшие солдаты, сбившие себе ноги, благодаря трудностям дороги и гололедице.

В одной из деревень я наткнулся на унтер-офицера нашей роты Голованова. Обрадовавшись встрече и тому, что будем попутчиками, мы решили передохнуть здесь и напиться чаю. Зашли в хату, сами вскипятили в котелке воду и, наскоро выпив по кружке кипятку, двинулись дальше.

Отойдя от Нового Корченя верст на пятнадцать, мы в одном из крупных селений встретились с двенадцатым полком. Не задерживаясь в селе, мы прошли уже почти всю улицу, как вдруг были остановлены громким криком какого-то подполковника. Он пьяным голосом кричал:

— Стой, подойди сюда.

Мы повиновались.

— Вы что, дезертиры, отставать? Я вас сейчас... — и начал крыть трехэтажным матом.

Я доложил, что я взводный унтер-офицер, сдавал участок взвода и отстал потому, что вынужден был возвратиться в окопы за оставленным там биноклем.

— А, забывать бинокль, — еще пуще раскричался полковник, — да я вас сейчас, сукиных детей, — и полез на нас с кулаками.

Оглянувшись по сторонам и увидевши, что по близости никого нет, я крикнул Голованову:

— Ну, Петруха, в штыхы!

Мы дружно взяли винтовки на руку. Это сразу отрезвило расхोлившегося «героя в резерве», и он немедленно удрал от нас в ближайшую хату.

Возбужденные этой встречей, озлобленные, ругаясь и жалея, что не проткнули его, мы быстро пошли дальше.

ГЛАВА IX

В БУКОВИНУ

Февраль

Мы все предполагали, что после отхода от Ниды, на продолжительное время попадем в резерв, так как вся дивизия вступила в непосредственное подчинение армейскому командованию. Однако, совершенно неожиданно нас сняли с резерва и направили в Буковину.

Положение находившейся в Буковине восьмой армии, благодаря сильному давлению перешедших в наступление австрийцев, оказалось критическим. Местности, занятые было нашими войсками и считавшиеся твердо закрепленными за русскими, были оставлены. В частности, австрийцы захватили обратно древний галицийский город Галич, о взятии которого в свое время много шумели и даже сложили песню, распеваемую на походе солдатами:

Взяты Галич и Львов с Ярославлем...

Выбив русских из Галича, австрийцы продолжали наступление, подошли к Черновице и, несмотря на сопротивление, оказанное нашими войсками, заняли и этот город.

Сильно потрепанная восьмая армия нуждалась в крупной поддержке. Весь наш семнадцатый корпус был брошен ей на помощь.

* * *

За два перехода до Черновиц мы остановились в местечке Воголье, где должны были заночевать, чтобы на следующий день выступить дальше.

Третий батальон был послан в сторожевое охранение.

Добравшись до назначенного для охраны района, батальон разбили на отдельные части. На долю моего взвода выпала задача занять несколько хуторов под названием «Переверзевские».

Когда мы отыскиали эти хутора, жители уже спали.

Подойдя к первой попавшейся хате, мы постучались. На стук никто не ответил, хотя внутри слышался беспокойный шопот и топание босых ног. Мы принялись стучать настойчивей. После этого кто-то вышел в сени, и женский голос спросил:

— Кто здесь?

— Русские солдаты, откройте.

Послышался испуганный шорох, тихие тревожные голоса — и все стихло.

Что за шут! Мы принялись стучать в третий раз. Наконец, двери раскрылись, и нас впустили в хату, в которой горела маленькая керосиновая лампочка. В хате оказалось несколько женщин — две молодых, мужья которых призваны в австрийскую армию, старуха лет пятидесяти, две взрослых девушки и несколько маленьких ребятишек. Мужчин не было.

Войдя в хату, я сделал расчет караулов, назначил караульных начальников, установил должные сигналы и, после ухода караульных на свои места, остался в хате с теми из солдат, которым предстояло идти на смену во вторую очередь.

Обитатели хаты с испугом смотрели на нас, прислушивались к каждому слову и внимательно разглядывали нашу форму. — Наконец, хозяйка (она была руссинка) спросила:

— Вы не из кавалерии?

— Нет, мы пехота, — ответил я.

Снова наступило молчание. Мы разобрались, сняли с себя снаряжение и, приготовившись перед отдыхом выпить чаю, попросили хозяйку разогреть плитку.

Это несколько успокоило женщин. Когда кипяток был готов, и мы, достав из своих вещевых мешков хлеб и сало, стали закусывать, хозяйка неожиданно предложила даже нам молока. Мы отказались, и так в молчании прошло все время чаепития.

Уже перед тем, как лечь отдохнуть, я спросил, давно ли здесь были австрийцы и много ли их было. Старуха ответила, что австрийцы были дня четыре

тому назад, что было их «дюже много» и что после их ухода здесь уже проходили русские.

— Разве? — удивился я, — нам казалось, что мы здесь первые.

Хозяйка продолжала утверждать, что русские были, но только не настоящие, а какие-то не то черкесы, не то казаки в мохнатых шапках и в обмундировании не похожем на обычную одежду русских солдат. По-русски почти никто из них не говорил.

Видя, что мы настроены мирно, и ничего у них не требуем и не берем, хозяйка вдруг расплакалась и стала сквозь слезы говорить, что если бы солдаты все были такие, как мы, то было бы очень хорошо, но что у русских есть черкесы и казаки, которые очень обижают население.

— Чем же они вас обидели? — спросил я.

Вместо ответа хозяйка еще сильнее залилась слезами, к ее рыданиям присоединились остальные женщины, и в течение нескольких минут мы не могли добиться ни одного путного слова. Наконец, несколько успокоившись, старуха рассказала следующее:

Вчера, перед вечером, на эти же хутора приехало несколько десятков каких-то кавалеристов в бурках и в больших мохнатых шапках.

Первым делом они забрали весь овес, какой нашелся в закромах хозяйки, затем потребовали приготовить им еду. Так как по-русски объяснялись они плохо и хозяйка их не поняла, несколько человек из них отправились во двор и начали шашками рубить головы

курам и гусям. Вернувшись в хату после этого «подвига», они вдруг потребовали, чтобы женщины спали вместе с ними. Не обращая внимания на поднятый женщинами крик и на угрозы жаловаться офицерам, черкесы схватили женщин за плечи, затащили их в стадол и там изнасиловали не только ее снох, но и старших дочерей. Нетронутой оказалась лишь сама хозяйка-старуха и маленькие ребята.

Рассказ хозяйки сопровождался истерическими рыданиями, к которым присоединялись рыдания других женщин.

— А вы пожаловались офицеру? — спросил я.

— Побежала туда, пробовала. Офицеры были в другой хате, но там с женщинами было сделано то же самое.

Я предложил ей вспомнить, какие знаки были на погонах солдат, чтобы определить, какой они части. Из ее слов можно было понять, что это была часть дикой дивизии, которой командовал великий князь Михаил Александрович. Дивизия эта состояла сплошь из ингушей и осетин.

Рассказ женщин, истеричные рыдания ее снох и дочерей вызвали возмущение у моих солдат. Мы решили довести рассказ старухи до сведения начальства и утром подали заявление обо всем выслушанном своему ротному командиру.

На следующий день, в ожидании полка, дальнейшее движение которого лежало через наш хутор, я отправился проверять выставленные перед хутором полевые

караулы, а затем прошел на участок других взводов. Завернув в хату, занятую прапорщиком Ханчевым, я рассказал ему о бесчинствах дикой дивизии, и Ханчев обещал обязательно передать мои слова командиру полка, чтобы он мог в свою очередь осведомить высшее начальство.

Возвратившись через некоторое время обратно на занятый моим взводом хуторок, я увидел около хаты несколько фурманок с солдатами-артиллеристами. Из сеней хаты доносился сильный шум и крик. Кричала хозяйка дома, ей вторили остальные члены семьи. На чердаке стоял дюжий подпрапорщик-артиллерист, сбрасывавший оттуда мешки с овсом и с ячменем.

— В чем дело? — спросил я, входя в сени.

— Ой, пане, — взмолилась, обращаясь ко мне, женщина, — у нас забирают последнее жито, нам нечего есть.

— Но тебе заплатят за это.

— Ни ма, не платят.

Я обратился к стоявшему на чердаке подпрапорщику:

— Почему берете бесплатно?

— Кой чорт — я предлагаю по рублю за мешок, а она не берет.

— Так разве по рублю за мешок надо платить? Как будто по справочным ценам нужно платить рубля по два за пуд?

— Ну это тебя не касается, — грубо оборвал меня подпрапорщик.

— То-есть как не касается? — расвирепел я. — Или ты сейчас же заплатишь ей по справочным ценам, или убирайся отсюда немедленно ко всем чертям.

— Ты что здесь за начальство, — заорал подпрапорщик, — разве не видишь, с кем имеешь дело?

— Вижу! Со сволочью и мародером.

Мое раздражение дошло до того, что я, сжимая в руках винтовку, еле сдерживался, чтобы не пустить ее в ход.

— Слезай с чердака! — крикнул я.

— Убирайся ко всем чертям, — ответил подпрапорщик, сопровождая эти слова отборным матом.

Я открыл двери в хату и скомандовал своим людям

— В ружье!

Солдаты вышли, оцепили фурманки, а я вскинув винтовку на подпрапорщика, сказал:

— Если сию же минуту не расплатишься, я уложу тебя на месте.

Подпрапорщик растерялся. Поняв, что с ним не шутят, он начал говорить примирительным тоном, что лошади в артиллерии падают, что фуража достать негде и что он согласен уплатить не по рублю за мешок, а по рублю за пуд.

Я спросил хозяйку, согласна ли она на такую цену. Хозяйка горько плакала, качая головой, и, всхлипывая, говорила, что у нее это последний ячмень и если его заберут, то ей ничего не останется, как вместе с ребятишками умирать с голоду.

— Ну, голубчик, — сказал я подпрапорщику, выслушав слова старухи, — сматывайся отсюда по добру, по здорову.

Подпрапорщик пробовал было возражать, указывая на то, что он старше меня в чине и я не имею права так грубо с ним разговаривать, но, видя, что я не уступаю, вместе со своими фурманками и повозками, ругаясь площадной бранью, выехал из хутора.

Это столкновение с артиллеристами настолько расстроило меня, что если бы вскоре не подошел полк, я написал бы рапорт по команде о всем случившемся. Необходимость присоединения к полку и дальнейшее движение отвлекли меня от этого, и я рапорта так и не подал.

Ну и сволочь же, однако, эта обозная публика! Хорошо, что на хуторе оказался наш взвод — иначе они забрали бы все, что было у крестьян, не заплатив ни копейки. Само собой разумеется, что казне был бы представлен счет на полную оплату фуража по справочным ценам, и денежки были бы положены в карман мародеров.

ГЛАВА X

КАРПАТЫ

Март

Неожиданно нас вернули от Черновиц обратно к первой попавшейся станции железной дороги. К тому времени, когда мы подошли к станции, был уже подан подвижной состав. Погрузка происходила в течение всей ночи. Мороз трещал, и в ожидании погрузки мы топтались подле платформы, с нетерпением ожидая, когда, наконец, очутимся в тепле, чтобы ехать дальше.

Поезд, поданный для нашего батальона, только на половину состоял из вагонов-теплушек. Другая половина состояла из вагонов, служивших в мирное время для перевозки живой птицы; обшивка их не была сплошной, а состояла из клеток.

Люди в этом вагоне чувствовали себя хуже, чем если бы сидели просто на открытой платформе. Со всех сторон дуло, сквозняк пронизывал до костей, а ехать

до станции Хиров — до места нашего нового назначения — предстояло в течение почти двух суток.

Во время пути мороз не уменьшался. Мы буквально замерзали, и для того, чтобы согреться, ложились впопалку, прижимаясь плотно друг к другу — но ветер беспощадно дул со всех сторон, парализуя все наши усилия. Пока мы доехали до станции Хиров, в нашем эшелоне оказалось пять человек замерзших.

Я, как командовавший взводом, находился в более привилегированном положении, имея возможность на остановках переходить в теплушки для того, якобы, чтобы повидаться с фельдфебелем, писарем или ротным командиром.

На мое заявление прапорщику Ханчеву, что солдаты коченеют, я получил разъяснение, что вагонов недостает, и командир полка, к которому с указанием на эту ненормальность уже обращались младшие офицеры, ничего не может сделать.

* * *

Станция Хиров, до которой мы добирались с такими мучениями, расположена на северо-восточном склоне Карпатских гор. Резко-холмистая местность, начинающаяся отсюда, указывает на близость основного Карпатского хребта.

Глубокая зима и лежащий на горах снег ничем не выдавали красоту и величие Карпатских хребтов. Нашим глазам представились огромные холмы, по-

крытые снегом, которые приходится с трудом преодолевать для того, чтобы забрать ту или иную возвышенность.

Перед тем, как выступить в горы, полку дали двухдневный отдых. Это было необходимо также и для того, чтобы дожидаться остальных частей нашей дивизии.

После отдыха полк тронулся по горным дорогам по направлению к реке Сану, — на замену расположенных там частей, назначенных в глубокий резерв.

Не привыкшие к путешествию по горным дорогам, мы с огромными трудами преодолевали их, проходя в день не больше десяти-двенадцати верст и изнемогая от усталости.

Люди шли более или менее сносно, но с лошадьми, тащившими за нами обоз и кухни, дело обстояло совсем скверно. Лошади выбивались из сил, и почти на каждом шагу солдатам приходилось останавливаться и на руках вытаскивать из снега повозки.

В течение целого дня мы взбирались на одну из гор, отделявших нас от реки Сана. Около трех верст пришлось карабкаться крутым подъемом, вытянувшись в цепочку. Зато спуск с горы был чрезвычайно легкий — мы почти съезжали на ногах, а не шли.

Открывшийся с горы вид на реку Сан захватывал своей красотой. Несмотря на зиму и сильные морозы, река не была покрыта льдом — бурное и быстрое течение не давало ей замерзнуть. За рекой уходили вдаль, как бы независимые друг от друга, высокие холмы. На склонах их по ту сторону Сана были

расположены австрийские позиции, защищенные проволочными заграждениями.

Позиция русских войск находилась на этом, т.-е. северном берегу Сана. Расстояние до австрийских окопов было не менее двух верст. Это очень обрадовало нас, и мы нашли, что новые места очень удобны — тем более, что, пользуясь лесистостью гор, мы могли в изобилии иметь дрова для отопления наших землянок.

Смена полка сибирской стрелковой дивизии нашим полком произошла днем без какого-либо обстрела со стороны австрийцев. Видимо в этом районе стрелять друг в друга не очень-то любят — что вполне естественно, ибо зимнее расположение в окопах больше располагает к спокойствию, чем к активным действиям.

Весь первый день ушел на приведение в более удобный вид принятых нами окопов. Они тянулись над берегом Сана по болотистому месту. Сколько-нибудь значительное углубление окопов вызывало появление воды и, чтобы не быть постоянно мокрыми, приходилось строить нечто вроде шалашей непосредственно на поверхности земли.

Трудность сообщения с тылом из-за крутых подъемов и гор вызывала перебои в доставке пищи. Часто кухни не могли добраться к нам, и солдат приходилось посылать за обедом за несколько верст. Само собой разумеется, что в таких случаях пища приносилась в недостаточном количестве и холодная. Достать же что-либо на месте было невозможно из-за полного отсутствия в этих районах жилья.

Сидение в окопах и оторванность от остального мира порождали среди солдат самые разнообразные слухи. Между прочим говорили, что в ближайшие дни ожидается атака Перемышля, находящегося верстах в пятидесяти правее нас, и что, одновременно с этой атакой, должно последовать общее наступление.

Около недели мы просидели спокойно. Затем последовал приказ ближайшей ночью атаковать австрийцев.

Для этого назначили второй батальон. Командовал им тот же злополучный капитан Соболев, который руководил наступлением батальона на реке Ниде.

Днем перед наступлением неожиданно прошел дождь, усиливший и без того сильное течение Сана. Надо заметить, что в спокойное и недождливое время Сан неглубок, и можно найти места, где реку нетрудно перейти вброд. Когда же проходят дожди, уровень этой горной реки сразу повышается.

В назначенную для наступления ночь Сан сердито бурлил, поднимая со дна крупные камни. Люди второго батальона, рассыпавшиеся по берегу в поисках брода, видя вздымавшиеся волны, боялись вступить в воду. Лишь к утру после настоящего и категорического требования командира полка (полком продолжал командовать Самфаров) началось наступление. Солдаты вошли в реку, но сильное течение сбивало их с ног и бросало обратно на берег. Многие погибли, унесенные течением, и всякие попытки перебраться на противоположный берег пришлось оставить.

Прошло несколько дней.

Разговоры о неудачном, благодаря отсутствию брода, наступлении вызвали приказ исследовать русло Сана, найти более удобное место для устройства переправы и навести мост при помощи саперной части, присланной в распоряжение полка.

Всю ночь десятого марта наводили мостки. Первым незадолго до рассвета заставили переправляться наш третий батальон. Наша переправа оказалась значительно счастливее, чем недавние попытки второго батальона. Мы спокойно перешли через реку и двинулись, рассыпавшись в цепь, на высоту 618 — на неприятельские окопы.

В темноте, стараясь соблюдать полную тишину, мы медленно пробирались по полю, покрытому почти на аршин снегом. Австрийцы, очевидно, не ожидавшие нашего наступления — безмолвствовали.

Когда начал брезжить рассвет, мы уже почти вплотную подошли к позициям австрийцев.

В предрассветном тумане мы увидели, что австрийские окопы, казавшиеся издали сильно защищенными проволочными заграждениями, были на самом деле укреплены слабо, и пехота вполне может преодолеть эту проволоку... Наконец между нашей цепью и позицией неприятеля осталось не более шестидесяти-семидесяти шагов. Только тогда австрийцы заметили наше движение и открыли беспорядочную ружейную и пулеметную стрельбу.

Наша цепь залегла.

Позиции австрийцев были сооружены в виде кольца, и это требовало такого же кольцеобразного наступления. Солдаты надвигались на высоту со всех четырех сторон, и таким образом австрийцы, защищавшие окопы, оказались вынужденными стрелять во все стороны. Они были отрезаны от других участков австрийских позиций, и отходить им было некуда.

Наступление действует всегда возбуждающе, вызывает подъем энергии, при обороне же или отступлении психика солдат бывает подавлена. При виде наступающих со всех сторон русских, слыша громкие крики «ура» и видя штыки взятых наперевес винтовок, австрийцы, естественно, должны были трусить.

Вскоре они прекратили стрельбу, побросали винтовки, и мы, ворвавшись в окопы, уже не встретили никакого сопротивления. Быстро заняв вершину, мы рассыпались по землянкам и обнаружили там значительное количество нераскупоренных банок с консервами. Это было нашими трофеями. Банки были немедленно розданы солдатам и здесь же уничтожены.

* * *

Не прошло и часа, как последовало новое распоряжение — двигаться дальше для атаки высоты 870, наиболее крупной и наиболее сильно защищенной.

Рассыпавшись цепью по снегу, хрустящему под ногами, мы тронулись вперед. Однако, движение наше продолжалось недолго, — нас встретили таким силь-

ным пулеметным и артиллерийским огнем, что мы были вынуждены залечь в снегу, зарывшись в него почти по шею.

Вдруг мы услышали передаваемое по цепи сообщение, что сегодня утром нашими войсками взята крепость Перемышль. Это известие вызвало по всей линии шумные возгласы и крики «ура». Казалось, что наступает момент заключения мира, что нужно сделать еще несколько усилий, и австрийцы будут окончательно разбиты, и армию распустят по домам.

* * *

Движение вперед было остановлено. Солдатам разрешили перейти с открытого поля к ложбинкам, заросшим кустарником. От моего взвода ближайший кустарник находился совсем близко, и через какие нибудь четверть часа мы перебрались туда. Защищенные от глаз австрийцев, мы могли уже не прятаться в снегу, а свободно ходить по кустарнику, согревая прозябшее во время лежания тело.

Среди дня нам показалось, что австрийцы оставляют свои позиции. Было заметно движение людей в полном снаряжении с вещевыми мешками за плечами, отходивших как будто бы в обратном от нас направлении. Это продолжалось, примерно, в течение получаса. Затем в австрийских окопах наступила тишина, и не стало видно ни одного человека.

Наблюдения за австрийцами настолько заинтересовали меня, что мне захотелось отправиться самому на высоту и посмотреть, что там творится.

Взяв с собой двух солдат нашего взвода, я приблизился к подошве горы; стараясь остаться незамеченными, мы стали потихоньку подниматься вверх.

Добравшись почти до вершины, мы наткнулись на первую линию окопов, защищенных только одной линией проволоки, через которую можно было свободно пролезть. Перебравшись через проволоку, мы прыгнули в первый попавшийся окоп. Он был пуст. На каждом шагу мы находили свежие следы недавнего пребывания австрийцев. Обшаривая окопы и стремясь найти хоть что-нибудь съедобное, мы в то же время внимательно изучали расположение укреплений. На самой вершине горы, заросшей буком, мы заметили еще одну линию окопов, устроенную также кольцеобразно, как и предыдущая.

Рассмотрев внимательно, как расположены позиции на самой вершине горы, и нанеся линии их на кроки, я вдруг увидел австрийца с винтовкой, находящегося впереди нас шагах в пятидесяти.

Став за дерево, я вытянул руку с револьвером в сторону австрийца. Револьвер дал осечку. Я сунул револьвер в карман и вскинул к плечу винтовку. Австриец в свою очередь наставил винтовку на меня. Следя глазами за движением друг друга, каждый из нас старался уловить удобный момент, чтобы спустить курок.

Тем временем мои спутники Попов и Панов заметили впереди группу австрийцев — человек десять,двигающихся в нашу сторону. Через несколько секунд такая же группа показалась с правой стороны. Положение становилось серьезным. Мы легко могли попасть в плен, а это ни в какой степени не улыбалось нам, так как мы верили, что война приближается к концу.

Стиснув в руках винтовки и стараясь следить одновременно и за стоящим впереди австрийцем и за обоими группами, приближающимися справа и слева, мы обдумывали, как бы удобнее удрать.

В это время бывший впереди австриец, очевидно, улучил удобный момент и выстрелил. Пуля впиалась в дерево, за которое я прятался. Видя, что миндальничать больше нечего, я выстрелил в свою очередь, но, очевидно, от волнения, выстрел оказался недостаточно точным, и пуля пролетела мимо солдата, присевшего во время моего выстрела, даже не ранив его.

Между тем группы противника приближались с обеих сторон. Нужно было немедленно решать, что делать — оставаться ли в окопах и сдаваться в плен или удирать. Я решил на последнее. Крикнув Попову и Панову: — Бегите к роте, — я выстрелил в группу австрийцев, подходивших слева. Это заставило их немедленно повалиться на землю. Тогда я выстрелил в сторону правых и, когда те тоже залегли, отчаянным прыжком бросился назад, к проволоке. Перелезть через проволоку на глазах у австрийцев — значило подставлять спину под их пули. На мое сча-

стье, однако, нижняя проволока не доходила до снега на несколько вершков и это позволило мне не перепрыгивать через нее, а нырнуть вниз.

Оставив на колючках проволоки огромный клок, вырванный из моей шинели, я очутился за линией заграждений. Так как дальше путь был свободен и бежать вниз было очень легко, я, делая быстрые зигзагообразные прыжки, через какие-нибудь две минуты был уже в полной безопасности. Само собой разумеется, эти минуты проходили под отчаянным обстрелом по мою душу, который, однако, не принес мне никакого вреда.

Добежав до лесочка и чувствуя себя уже в безопасности, я было замедлил шаг, но вдруг меня поразила сильный удар в спину.

Я кубарем полетел в кустарник. Прележав несколько мгновений почти без сознания, я почувствовал, что нос у меня в крови, на лбу и на руках несколько ссадин, а спина болит точно от удара камнем. Кто же ударил меня по спине, да так, что я пролетел несколько саженьей? Приведя в порядок свой нос и руки, я снял шинель и с сожалением увидел, как огромная дыра зияет в ней после знакомства с колючей проволокой. Никаких признаков ранения на спине я однако не нашел. Тогда я стал рассматривать свой вещевой мешок, висевший во время бегства у меня за плечами. В мешке оказалась дырочка. Вытряхнув содержимое мешка на снег, я обнаружил в толстой книге (стихотворения Шевченко), которую я взял в

одном местечке и постоянно носил с собою, застрявшую револьверную пулю.

Итак, меня спас Шевченко. Не будь в вещевом мешке этой книги, я лежал бы трупом под злополучной высотой 870.

Долго лежал я в кустарнике, отдыхая от всего происшедшего, и только через полчаса вспомнил о своих спутниках. Их нигде не было видно, и я понял, что они либо убиты, либо попали в плен.

Возвратившись к роте, я пошел с докладом о своей разведке к ротному командиру. О Попове и Панове, так и не вернувшихся, я благоразумно умолчал, решив, что их можно показать, как выбывших, после очередного наступления.

Ротный командир первым делом выругал меня за путешествие, предпринятое без его разрешения. Затем он отправился вместе со мною к командиру батальона. Тот, выслушав мой рассказ и посмотрев брошенные мною кроки местности, приказал мне быть готовым к двенадцати часам ночи, чтобы служить проводником батальона при наступлении на эту высоту.

Такого финала я не ожидал—перспектива идти впереди батальона и показывать австрийские окопы меня совсем не привлекала.

Однако делать было нечего. Точно «в двенадцать часов и одну минуту», как гласил приказ из штаба полка, третий, четвертый и второй батальоны должны были атаковать высоту 870 и закрепиться на ней.

В половине двенадцатого меня вызвал капитан Савицкий и приказал отправляться к командиру батальона, по указанию которого я должен идти впереди наступающих цепей, служа для них проводником. Прибыв к батальонному командиру, я получил новое распоряжение: быть во время наступления при нем, чтобы помогать ему ориентироваться в местности. Это было уже приятнее, ибо во всяком случае не подводило под первые пули.

В двенадцать часов и одну минуту цепи тронулись вперед.

Командир батальона, очевидно, опять передумал — он отменил и последнее свое решение и позволил мне присоединиться к роте; я опять стал во главе своего взвода.

До самой подошвы горы мы двигались без выстрелов. Направление, по сравнению с тем, как намечалось днем, было несколько изменено — двенадцатая рота шла совсем не тем путем, которым я путешествовал утром.

Прежде чем добраться до вершины горы, нам пришлось преодолеть густые заросли кустарника. Когда мы выбрались из них и перед нами предстала свободная от растительности гора, австрийцы заметили наше движение и открыли бешеную стрельбу. Стреляли не только с фронта. Одновременно был открыт огонь по наступающим цепям и с соседних гор, наступление на которые не велось.

Мы залегли в снегу. Трещали пулеметы, пули ле-

тели с трех сторон, справа, слева и навстречу. Пулеметные пули, самые страшные из всех видов огня— кажется, что один только свистящий звук их полета может изрешетить все тело, и гораздо легче мириться даже с артиллерийским обстрелом.

На наше счастье пули летели высоко в воздухе. Взять правильный прицел с вершины горы очень трудно, и мы находились как бы в мертвом пространстве, не поддающемся поражению.

Когда первый страх прошел, мы двинулись дальше, к вершине, цепляясь за отдельные кусты, чтобы не свалиться вниз. Пули с неменьшей силой продолжали свистеть над нашими головами, и вскоре полк снова залег.

Солдаты различных рот перемешались между собой. Среди людей моего взвода оказались солдаты других рот, и это очень осложнило положение: моя команда «Вперед» — встречала возражения со стороны солдат других частей, впутавшихся в наши ряды.

Лежание на снегу и охвативший нас от этого холод невольно вызывали желание двигаться дальше — да кроме того всякое отступление назад было невозможно, так как могло вызвать панику. Скомандовав еще раз — «Вперед за мной», — я подполз к самым окопам. Вид наших фигур, неожиданно возникших перед самым носом австрийцев, ошеломил их. Они прекратили стрельбу, и это дало нам возможность проникнуть в самые окопы, не считаясь с тем, идет ли ктонибудь за нами или нет.

Не задерживаясь в первом окопе и только разоружив бывших там солдат, мы бросились дальше. С группой всего человек в пятнадцать, я оказался в центре неприятельского войска, огонь которого по-прежнему был направлен не в нашу сторону, а вниз, откуда наступали наши цепи. Стараясь, пока не поздно, использовать это положение, мы рассыпались по землянкам австрийцев, вытаскивая оттуда притаившихся людей и разоружая их. Через какие-нибудь четверть часа мы имели перед собой больше ста безоруженных солдат, ошеломленных одним нашим появлением и автоматически бросавших винтовки к нашим ногам.

Покончив с резервными окопами и оставив австрийцев под охраной двух солдат, я направился с остальными к передним окопам, из которых продолжалась стрельба.

Подходя к одному из них, мы увидели стоящего на бруствере немецкого солдата в каске. Он непрерывно стрелял в сторону наступающих. Когда мы окрикнули его и предложили бросить винтовку, он медленно повернулся в нашу сторону, приложился и спустил курок. Один из наших солдат упал, сраженный наповал. Это настолько разъярило остальных, что они тут же штыками закололи немца.

Не успели мы захватить из ближайших блиндажей и десятка австрийцев, внося нашим появлением в их ряды страшную панику, как столкнулись с ворвавшейся в окопы группой солдат из четвертого

батальона, под командой подпоручика Кострожицкого.

Стало легче — теперь мы были не одни — и в какие нибудь полчаса мы объединенными силами обеих групп парализовали дальнейшее сопротивление австрийцев. Стрельба смолкла, и наступавшие части уже спокойно взобрались на вершину.

Только на рассвете я отыскал своего командира капитана Савицкого. Он грубо спросил:

— Ты где пропадал?

— Я был на вершине, разоружая австрийцев, а где была рота, мне неизвестно.

Савицкий свирепо сверкнул глазами и приказал мне присоединиться к роте.

Весь бой, разыгравшийся при взятии высоты 870, в сущности был начат и закончен двумя небольшими отрядами — группой людей моего взвода, к которым присоединились солдаты из других рот, и группой подпоручика Кострожицкого. Это можно объяснить только тем, что австрийцы совершенно не имели представления о количестве ворвавшихся в окопы русских солдат. Если бы темнота не скрывала нас и если бы было обнаружено, что нас всего небольшая горстка, мы конечно были бы перебиты или в лучшем случае разоружены.

Во взятии высоты и во всем бое никто из офицеров, за исключением Кострожицкого, никакой роли не играл, да так оно было и во всех других сражениях, где связь обыкновенно утрачивалась, цепи расстраи-

вались, люди рот перемешивались, и окончательный исход зависел от находчивости отдельных солдат.

Наступившее утро помогло нашим начальникам разобраться и привести полк в порядок.

Измученные двумя бессонными ночами, мы свалились от усталости и несколько часов проспали в захваченных австрийских окопах.

* * *

Вторую половину дня мы провели в работе над устройством новых окопов.

Вечером солдаты моего взвода стали устраивать себе землянку для отдыха. Грунт был каменистый, копали с трудом и пришлось затратить не менее двух часов, чтобы выкопать яму аршина в полтора глубины и закрыть ее подобранными и срубленными деревьями, для защиты от артиллерийской стрельбы.

Когда наступила ночь, мы легли в нашу новую землянку, набросав на землю вместо постели хворосту. Сколько времени мы проспали — не помню, но проснулся я от охватившего меня холода. По телу ползло что-то липкое и холодное, но что — я сразу сообразить не мог. Осветив землянку спичкой, мы увидели, что она на несколько вершков наполнилась водой.

Очевидно, выкапывая землянку, солдаты задели какую-нибудь водоносную жилу, и это было причиной наводнения.

Отчаянный холод охватил нас. Для того, чтобы отогреться, мы вынуждены были сбросить с себя все платье, вытереться сухим запасным бельем, к счастью оказавшимся в вещевых мешках, и «протанцовать» до утра вокруг землянки. Однако путного из «танцев» получалось мало. Чтобы не простудиться и не захватить воспаление легких, я передал командование командиру первого отделения, а сам убежал в захваченные вчера австрийские окопы, находившиеся на противоположном склоне горы, и едва отогрелся в землянке ротной канцелярии.

ГЛАВА XI

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ БЕСКИДСКИЙ ХРЕБЕТ

В то время как мы сидели на высоте 870, предпринимая неудачные атаки на высоту 915, дальнейшее развитие боевых операций легло на четырнадцатую дивизию, находившуюся справа от нас. В результате действий четырнадцатой дивизии, дней через десять после захвата нами высоты 870, австрийцы начали отступать, уходя за основной Карпатский хребет, так называемый Бескидский, за которым уже началась территория Венгрии.

Наш полк снова перешел к походному движению со всеми мерами походного охранения.

В первый день, в качестве авангарда была выставлена двенадцатая рота, а по распоряжению ротного командира, для более глубокого освещения впереди лежащей местности, был направлен мой взвод.

Уже в сумерках, спустившись в долину, по которой шла дорога по направлению к станции Кальница, мы

осторожно продвигались вперед, внимательно осматривая встречавшиеся по пути деревушки, чтобы не нарваться на засады австрийцев.

Подойдя к одной из деревень неподалеку от станции Кальницы, мы увидели какой-то обоз военного образца, расположившийся здесь. Решив, что это аррьергард австрийцев, мы осторожно рассыпались в цепь и выслали вперед несколько человек дозорных. Каково же было наше удивление, когда вернувшиеся дозорные донесли, что в деревне они встретили несколько продуктовых повозок нашего полка и в том числе повозку нашей роты с каптенармусом Доброхотовым!

Спешно всем взводом вступили мы в деревню и остановились в тех же хатах, к которым пристали обозные повозки.

На мой удивленный вопрос, каким образом сюда попал обоз, Доброхотов ответил, что получил распоряжение из штаба полка отправиться с продуктами к ротам нашего батальона, при чем в штабе ему было сказано, что наша рота находится уже на станции Кальницы; так как до Кальниц оставалось не менее пяти верст, он считал, что находится в полной безопасности под прикрытием находящихся впереди частей.

Когда он узнал, что головной частью идет мой взвод и что впереди кроме австрийцев никого нет, ужас его дошел до того, что он немедленно вместе с другими обозниками бросился запрягать повозки, чтобы удирать обратно.

Забрав необходимое количество продовольствия для людей своего взвода, я не возражал против отъезда обоза, так как не был уверен, что мы не встретимся с каким-нибудь сюрпризом, как это было, например, в Августове.

Выставив на окраине деревни полевой караул, взвод не спал всю ночь, ожидая прибытия роты.

Рота подошла только на рассвете. Нам рассказали, что полк следует в нескольких верстах сзади и намерен заночевать на станции Кальницы в том случае, если эта станция будет очищена нами от противника.

Передохнув в течение нескольких часов в деревне, рота направилась к указанной станции.

Дорога вилась по ущельям. Принимать меры предосторожности и охранения было трудно — движение в сторону от дороги затруднялось крутизной и лесистостью гор. Если бы на вершинах оказался противник, он свободно мог бы обстреливать нашу часть, идущую внизу по ущелью, так как развернуться полностью в боевой порядок мы не могли.

До станции мы дошли спокойно, не встретив на пути ни одного неприятельского солдата.

Вступив в поселок, расположенный вокруг Кальницы, рота остановилась рядом с большим деревянным зданием, служившим, очевидно, конторой железнодорожной линии.

Внутри здания оставались еще свежие следы недавнего пребывания австрийцев: разбросанные на полу бумаги, устаревшие приказы, телеграммы и те-

леграфные листки и бездействовавший аппарат Морзе. Очевидно здесь помещался штаб какой-то австрийской части.

Во дворе здания нашли бочку со спиртом.

Прежде чем доложить о находке ротному командиру, солдаты пробили штыками дно и наполнили спиртом свои фляги; более ретивые употребили на это дело даже котелки. Несмотря на предупреждения взводного унтер-офицера, часть солдат не выдержала и «попробовала» качество находки, а так как перед этим они почти ничего не ели и лишь у людей моего взвода, благодаря встрече с каптенармусом, были в запасе консервы, — солдаты тут же во дворе свалились, одурманенные спиртом.

После того, как добрая половина спирта была разобрана, о находке доложили Савицкому. Тот распорядился немедленно поставить к бочке караул и пропускать к ней только по его записке.

Первым получил допуск к бочке денщик Савицкого, наполнивший чуть ли не десяток, неизвестно откуда взявшихся у него, фляг и какой-то бидон, очевидно найденный в том здании, в котором расположилась рота.

После того, как денщик нагрузил всю эту посуду спиртом, Савицкий приказал равномерно распределить остатки между людьми роты.

— Все равно, черт возьми, — громогласно заявил он, — этот спирт растащат штабные. Лучше пусть пользуется моя рота.

К сожалению, солдатам трудно было воспользоваться разрешением ротного командира: вся имевшаяся в нашем распоряжении посуда уже была наполнена раньше.

Пока мы делили и «пробовали» спирт, прошло не меньше часа.

Неожиданно с возвышенности, находившейся против нашего здания, раздалось несколько выстрелов. Савицкий приказал роте рассыпаться в цепь и перейти в наступление.

Удивительно стройной цепью, без единого отставшего (очевидно под влиянием выпитого спирта) тронулась рота вперед. Стрельба со стороны австрийцев усилилась, но никто не обращал внимания на летящие над головами пули.

Почти полверсты прошли мы по ровному месту, под бешеным ружейным огнем. Вдруг засвистели и завизжали пулеметные пули. Как я уже писал, действие пулемета производит более удручающее впечатление, чем артиллерийская стрельба. Поэтому при первых звуках пулемета цепь залегла, и дальнейшее продвижение к полотну железной дороги производилось путем перебежек и накопления на удобных рубежах.

Через некоторое время мы добрались до полотна железной дороги. Так как стрельба не прекращалась, а до возвышенности, занятой австрийцами, оставалось еще порядочное расстояние, мы в свою очередь открыли огонь.

Стрелять приходилось по невидимой цели, но тем не менее самая стрельба, а возможно и случайное поражение прячущихся за деревьями австрийцев, заставляли их быть более осторожными.

Перебежки, лежание на снегу, холод, — все это вместе взятое вызывало желание хлебнуть глоточек из фляжки, и многие из солдат, лежа с винтовкой, после нескольких выстрелов, перекладывали винтовку в левую руку, а правой тянулись к фляжке и пили спирт прямо из горлышка.

Мне с несколькими людьми своего взвода удалось занять железнодорожную будку.

В будке было тепло, и в тепле, после выпитого спирта нас быстро «развезло». Чувствовалось опьянение и в то же время безудержная смелость, желание совершить какой-то подвиг, который бы разрядил скопившуюся энергию.

Ефрейтор моего взвода, он же ротный барабанщик, Сергеев, уже опорожнивший наполовину свою фляжку, блаженно улыбался, сидя на полу.

Вдруг австрийская пуля, пробившая стену будки, задела нос Сергеева. Он растянулся на полу с криком: — Батюшки, убили!

Кровь потоком лилась из носа. Осмотрев рану, мы увидели, что пуля прошла через ноздрю, пробив ее и не причинив серьезного повреждения. Все же это вызвало обильное кровотечение, сдержать которое было трудно, даже наложив повязку. Сергеев плакал пьяными слезами, причитая говорил, что ему

теперь изуродовало всю физиономию, что его дома не узнает жена — и в заключение попросил поднести еще стаканчик.

Выпив новый стаканчик, он успокоился, так как, повидимому особой боли не чувствовал, и блаженным тоном стал говорить о том, как он счастлив, что благодаря ранению сможет на Пасху попасть в Москву и разговеться со своей семьей.

До пасхи оставалось три дня.

* * *

Вести наступление дальше ротный командир не захотел. Рота осталась на полотне железной дороги в ожидании пока придут остальные части.

Полк прибыл перед вечером.

Вместе с полком шествовал и временно командующий им Самфаров. Он обошел роты, поздравляя солдат с победоносным наступлением, и говорил, что «еще несколько усилий, и мы, тульские орлы, разовьем свое знамя над гордыми вершинами седых Карпатских гор».

Два батальона, в число которых входил и наш, должны были первыми двинуться дальше, вглубь Карпат, чтобы захватить Бескидский хребет и перенестись на территорию Венгрии. Остальные части полка, вместе со всеми обслуживающими командами, задержались на станции Кальница и предполагали

выступить лишь после получения донесения о том, что мы перевалили через хребет.

Начальником отряда, т.-е. двух сводных батальонов, назначили полковника Измайлова,—командира первого батальона.

Выступили в ночь.

Часам к десяти отряд остановился около какого-то лесопильного завода, вокруг которого было сложено огромное количество распиленного материала. Итти дальше впотьмах, без дороги было невозможно, и на этом лесопильном заводе решили заночевать. Горючего материала, в виде огромного количества досок, было сколько угодно, и мы провели ночь в тепле. Зато не было никакой еды—кухни отстали, и почти в течение двух суток мы не видели даже хлеба. Пасхальную ночь пришлось встретить с пустым желудком. Только у некоторых, наиболее умеренных солдат двенадцатой роты, сохранились остатки спирта.

Около бесчисленных костров, на посланных прямо на снег походных палатках, провели мы эту ночь. Утро первого дня пасхи мы встретили одним только кипятком с несколькими крупинками заваренного в нем чая, который тоже имелся уже не у всех. Чтобы не свалиться от усталости и от голода, солдаты двенадцатой роты—наиболее счастливые—поддерживали себя исключительно спиртом.

Как бы желая подчеркнуть значение праздника, Измайлов не торопился в этот день с выступлением, и мы тронулись дальше только около полудня.

Итти было невыносимо трудно — приходилось взбираться на крутые горы без всякой дороги, утопая по пояс в снегу и не видя даже следов отступавших перед этим австрийцев. Очевидно они шли по какому-то другому пути, пропущенному руководителем нашего отряда Измайловым.

На кратковременных остановках, которые делались для передышки, Измайлов забирался в ряды солдат, садился вместе с ними и, стараясь отвлечь их внимание от мучившего всех голода, рассказывал о немцах, об их привычках.

Из этих рассказов у меня в памяти сохранилось лишь несколько фраз. Вот например, одна из них:

— По-русски «хорошо», — говорил он, поднимая указательный палец, — а по-немецки «гут».. Да, — задумчиво повторял он, — по-немецки «гут», а по-русски «хорошо»...

Что он хотел этим сказать — не знаю.

К вечеру мы неожиданно попали под обстрел небольшой группы австрийцев-разведчиков; без всяких потерь нам удалось взять их в плен. Из допроса пленных выяснилось, что мы идем совершенно не в том направлении, какое назначено для нашего отряда и что мы уклонились вправо по крайней мере верст на восемь. В довершение же всего к нашему отряду приблизилась часть четырнадцатой дивизии. Офицер, командовавший этой частью, почтительно доложил Измайлову, что участок, занятый нами, при-

надлежит его дивизии и попросил Измайлова свернуть в сторону.

Уже наступала темнота, солдаты были измучены до-нельзя и Измайлов отдал распоряжение заночевать в горах, в снегу.

Эта ночь из-за отсутствия под руками горючего материала, была ужасна. Мы выкапывали в снегу ямы, глубиною почти в сажень — настолько глубокий был снег. Располагаясь в этих норах по несколько человек, мы закрывали ямы сверху палатками и в таком положении проводили часы, пытаясь согреться собственным дыханием.

С рассветом Измайлов, очевидно разобравшийся в том, какое направление нужно взять для дальнейшего движения, повел отряд влево. Мы настолько заблудились, что целый день ушел у нас на поиски дороги. Когда же мы наконец отыскивали ее, нашим глазам представилось неожиданное зрелище: по дороге двигался наш полковой обоз второго разряда — т.-е тот обоз, который по уставу должен двигаться на расстоянии одного перехода от боевой части полка.

Встреча эта доказала, что мы отстали ровно на сутки и что второй и четвертый батальоны, которые полагали, что следуют далеко позади нашего отряда, оказались идущими впереди без боевого походного охранения и ежеминутно рискуют натолкнуться на противника.

Несмотря на усталость и измученность людей, не евших уже больше трех дней, Измайлов форсировал

дальнейшее движение, заставляя нас идти как можно быстрее, чтобы догнать штаб полка, шедший далеко впереди.

Уже в сумерки нагнали мы свой штаб.

Самфаров стоял на окраине деревни. Он иронически поздоровался с Измайловым, шедшим впереди нашей роты, затем поздравил нас с праздником святой пасхи и, ехидно улыбаясь, произнес:

— Сегодня второй день пасхи, я знаю, что вы еще ничего не ели. Полк получил большое количество подарков, много окороков. Эти окорока ждут вас, они здесь... Чистяков, дай сюда окорок, — крикнул он в сторону хаты.

Из хаты вышел жирный денщик, держа в руках огромный окорок ветчины. Самфаров взял этот окорок и помахал им перед нашими физиономиями.

— Эти окорока будут у вас, как только вы возьмете вон ту высоту, — сказал он, указывая на вершину горы, находившейся от нас верстах в четырех.

«Ну и сволочь, — стиснув зубы думал я, — сам нажрался, а мы несколько дней не только не видели горячей пищи, но даже корки хлеба... И он же еще издевается над нами».

Измайлов остался в деревне, а наш ротный командир Савицкий повел нас дальше по направлению к горе, указанной Самфаровым.

Впрочем уходить из деревни Савицкому повидимому не захотелось: выйдя за околицу он тотчас же

передал командование ротой фельдфебелю, заявив, что чувствует себя нездоровым и останется здесь отдохнуть. Фельдфебель, который был измучен не меньше нас, в свою очередь решил последовать примеру Савицкого и тоже остался для «отдыха» — но не один, а в сопровождении целой полуроты, поручив мне с другой полуротой атаковать высоту. Пищи все равно сегодня было не дожидаться, а где лежать — один чорт. Кляня в душе и Самфарова и Савицкого, и фельдфебеля, я двинулся со своей полуротой вперед.

У австрийцев настроение было тоже пасхальное — пройдя не более полуверсты, мы наткнулись на целый отряд, состоявший человек из пятидесяти. Австрийцы спали мертвым сном в каких-то шалашах. Захватив всю эту партию в плен и отправив их в штаб полка, мы выступили дальше и на рассвете вошли в деревушку, расположенную у подошвы горы.

Неизвестно почему, как только мы вступили в деревню, она загорелась одновременно в нескольких местах и через какой-нибудь час выгорела до тла. Во время пожаров раздавались взрывы снарядов, сложенных в хатах и стадолах, шла трескотня ружейных патронов. Очевидно, в этой деревушке был небольшой склад снаряжения.

Миновав сгоревшую на наших глазах деревню и пройдя еще около полуверсты, мы вступили в другую. Голод был настолько силен, что мы не в состоянии были двигаться дальше, заняли первые попав-

шиеся хаты и прежде всего обратились к крестьянам с просьбой дать чего-нибудь поесть.

— Есть бульба (картошка), берите и варите, — предложили крестьяне.

Голод был настолько силен, что мы не могли ждать пока разгорится плита, нагреется вода, сварится картофель — и тут же, как только картофель был принесен, набросились на него и стали пожирать сырым. Это — вместо обещанных окороков...

* * *

Апрель

Переход через главный хребет Карпатских гор оказался чрезвычайно трудным.

Итти пришлось по узким дорожкам, проложенным по глубокому снегу в густом лесу. Начиналась уже настоящая весна, снег стал рыхлым, и это делало дорогу почти непроходимой. Особенно тяжело было обозу и артиллерии. Лошади совершенно выбивались из сил, — не могли везти тяжелый груз, и солдатам приходилось вытаскивать на руках повозки и пушки. Местами, чтобы через глубоко лежащий снег могли пройти тяжелые орудия, нужно было делать настилки из срубленных тут же деревьев.

Подъем на гору Бескид длился не менее пяти часов.

Это — самая высокая точка Карпат, являющаяся в то же время границей между Угорской Русью и

Венгрией. Северный склон Бескида, заросший буковыми лесами, был еще покрыт глубоким снежным покровом. Южный же склон уже зеленел и расцветал.

* * *

Спуск с горы Бескид в Венгерскую долину происходил без особых затруднений. Густо растущие деревья скрывали наши части от взоров противника.

Дальше движение пошло по равнине, пересеченной только отдельными холмами и возвышенностями. Таким образом Карпаты как бы окончились.

Во время дальнейшего наступления нам приходилось останавливаться в венгерских деревнях.

Здесь культурный уровень населения во многом отличался от сел Угорской Руси. Отличие венгерской деревни заключалось прежде всего в том, что здесь чувствовалось больше свободы для населения. Заметно было, что крестьян меньше обременяют налогами — хаты их были лучше, инвентарь богаче; кроме того каждое хозяйство имело большое количество рогатого и рабочего скота.

Совсем в ином положении находилось крестьянство Угорской Руси.

Нам не раз приходилось сталкиваться с поражающей бедностью тамошнего населения, с примитивностью деревенских хат. Особенно странным казалось то, что в Австрии, в западно-европейской стране, которую мы привыкли представлять себе та-

кой культурной—крестьянские избы топились по черному: печи в хатах не имели трубы для выхода дыма. Стоило только затопить печь, как дым расплзался по стенам и потолку; постепенно они становились черными, прокопченными, покрывались каплями влаги, образующейся от осадков дыма. Отсутствие труб население объясняло большими налогами, которыми облагали фискальные органы австрийского правительства законченные печи. Чтобы не платить налогов, галичане предпочитали топить по-черному, открывая во время топки настежь двери и окна.

Одежда населения Угорской Руси тоже указывала на бедность его: в то время, как крестьяне венгерских деревень носили платье, изготовленное из фабричных тканей, одежда галичан состояла исключительно из полотна домашнего изготовления.

Отношение венгров к русским войскам было довольно своеобразное, скрытное: они не проявляли ни дружелюбия, ни открытой враждебности. Крестьяне предоставляли в распоряжение воинских частей свои помещения и лошадей для перевозки грузов, но делалось это с сосредоточенным видом, так что невозможно было понять скрывается ли за этим одобрение или недовольство. В Галиции же, особенно в тех местах, где русские еще не успели «нашкодить», услуги, оказываемые армии со стороны населения, носили открытый и дружелюбный характер.

Стояли ясные безоблачные теплые дни. Кое-где крестьяне уже приступили к полевым работам. После

длительной зимы, особенно затянувшейся для нас, т. к. мы последние недели провели в горах, после суровых и тяжелых переходов по Карпатам, солдаты отдыхали. Позиции австрийцев располагались примерно на расстоянии версты от наших, и это делало почти невозможной даже ружейную стрельбу. Лишь с наступлением сумерок раздавались одиночные выстрелы. Стреляли наши и австрийские полевые караулы — не столько для того, чтобы поразить противника, сколько для очистки совести.

Первые десять дней прошли в полном спокойствии. Наконец это, очевидно, надоело начальству — мы получили распоряжение перейти в наступление на австрийскую позицию, в «двенадцать часов и одну минуту ночи», как гласил, по обыкновению, приказ Самфорова.

За десять дней спокойного сидения в окопах мы достаточно хорошо изучили местность, лежащую между нашими и австрийскими позициями, и понимали, что наступление будет исключительно тяжелым. Позиции противника были устроены очень удачно. Австрийцы имели возможность обстреливать нас в случае наступления не только фронтальным, но и фланговым огнем.

Приказ о наступлении стал известен нам часов в десять вечера, и те два часа, что оставались в нашем распоряжении, мы провели в невеселом раздумьи. Итти в атаку на этот раз солдатам особенно не хотелось: среди нас ходило множество слухов и

разговоров о том, что уже ведутся переговоры о перемирии, и что полк вот-вот отведут в глубокий резерв в ожидании подписания мира. Подпрапорщик Барыш говорил даже, что мы наступаем лишь для того, чтобы выторговать у противника лучшие условия.

Так или иначе, но настроение у солдат невеселое. Наши части сильно потрепаны. Пополнения давно не было. Благодаря тяжелым транспортным условиям наша артиллерия стреляет редко и снарядов в артиллерийских парках уже давно нехватает.

* * *

Наступление началось незаметно для противника, в полной тишине. Только перед рассветом мы услышали влево от нас стрельбу по первому батальону. Огонь усиливался с каждой минутой и, когда наш батальон вышел на открытую, ровную местность, неподалеку от проволочных заграждений неприятеля, был частично перенесен и на нас. Наша артиллерия, несмотря на то, что в дело были пущены два батальона, безмолвствовала.

Командовавший нашим батальоном полковник Иванов, увидев, что роты залегли и не двигаются дальше, распоряжения о переходе в штурм не отдавал. Таким образом, мы пролежали почти до полудня не двигаясь вперед, пассивно наблюдая за борьбой первого батальона и лишь изредка поддерживая его своим пулеметным и ружейным огнем.

Цепи первого батальона таяли на наших глазах.

Часам к двум дня солдаты не выдержали и беспорядочно отступили обратно, мы же продолжали лежать не двигаясь с места до тех пор, пока не получили распоряжения вернуться к исходному положению. Таким образом атака сорвалась, во первых потому, что не была поддержана артиллерией, а во вторых, из-за бездействия нашего батальона, который по приказу должен был наступать одновременно с первым.

Потери первого батальона огромны. У нас же всего лишь несколько раненых шрапнельными пулями.

На следующий день после этого неудачного наступления нас сменил четвертый батальон, бывший до сих пор в резерве. Смена произошла ночью, как это обычно делается на позиции. Ночью же пришли мы в резерв, и с наступлением утра начали приводить в порядок свою амуницию, винтовки, одежду.

День был теплый, совсем летний, и это позволило нам выкупаться в протекавшей по соседству речушке и переменить белье.

Среди дня к нам явился командующий полком полковник Самфаров, которого солдаты очень не любят за издевательства над нами на пасху, когда он дразнил нас окороком. (Кстати сказать ни одного окорока в нашу роту так и не было прислано). Самфаров обходил взводы, осматривая оружие и одежду. Вдруг он пронзительно закричал на прапорщика Ханчева:

— Почему у солдат рыжие сапоги? Почему не смазаны?

— Господин полковник,—доложил Ханчев,—наша рота вот уже несколько месяцев находится в боях, без всякой смены и не только не получала никакой смазки, но, как видите, ходит в совершенно разваливающихся сапогах. Чистить такие сапоги и делать их черными невозможно.

— Прошу не рассуждать, прапорщик,—возразил Сапфирский,—если я приказываю, чтобы сапоги были черными, значит они должны быть черными.

Проходя дальше он заметил, что несколько солдат одеты вместо защитных брюк в черные.

— Это еще что за безобразие? — возмутился он.

Ханчев объяснил, что защитные шаровары у многих пришли в полную негодность и потому он разрешил каптенармусу выдать им запасные черные брюки, привезенные еще из Тулы.

— Немедленно заменить защитными! — приказал Сапфирский.

— Господин полковник, — продолжал Ханчев, — у нас совершенно нет в запасе никакой одежды.

— Прошу не рассуждать, — заорал Сапфирский, раздражение которого, повидимому, достигло предела. — Мой приказ должен быть исполнен!

Таков был «осмотр» полковым командиром нашей роты, бывшей непрерывно в боях с конца февраля и до конца марта.

Наша рота потеряла за последнее время столько людей, что первое, прибывшее в полк пополнение было направлено к нам.

В мой взвод влилось человек двадцать — при чем все они, как на подбор, оказались бывшими учителями из Тверской губернии.

С прибытием пополнения жизнь в окопах оживилась. Велись бесконечные разговоры о жизни в тылу, о службе в запасных полках, о настроении тыловых гарнизонов, о растущей по всей стране дороговизне и спекуляции, о непрерывной мобилизации старших возрастов и подростков.

Нередко случалось, что разговоры и споры приобретали политический оттенок. Среди учителей находились такие, что открыто говорили, что война бессмысленна, не нужна, не в интересах народа. Другие возражали им, указывая, что война носит освободительный характер, что немецкое засилие велико не только в России, но растет во всех остальных странах, и потому немцев нужно сокрушить.

— Погодите, — кричали первые, — кончится война и такое дадут нам освобождение от немецкого засилия, такая будет дана конституция Польше, что тошно станет! Дело не в том, чтобы бороться с немецким засилием, нужно бороться внутри у себя с засилием произвола и чиновничества.

— Посмотрите на немцев, — возражали вторые, сторонники войны, — вот вы говорите, что надо у себя заполучить свободу. А как поступили немецкие социал-демократы? Как только была объявлена война, они горой стали за кайзера, первыми подали голоса за военные кредиты. Если немецкие социалисты идут воевать с такими культурными странами, как Франция и Англия, то чего же можно вообще ждать от немцев, если мы их не разобьем?

При всей своей отсталости от политических вопросов, я смутно сознавал, все же, что правда была на стороне первых. Что мы представляем из себя в этой войне? Ведь через один только мой взвод прошла уже не одна сотня людей и из них по крайней мере половина осталась на полях сражения перебитой или искалеченной. А что получают они по окончании войны? Раздумывая над этим, я чувствовал насколько я отстал от всего того, что когда-то читал и слушал. Полтора года проведенные на военной службе, из которых почти год пришлось пробыть на фронте, как-то вытравили из головы и из памяти все то, что было в ней заложено, а положение взводного унтер-офицера обязывало к тому же строго блюсти дисциплину и прежде всего — не допускать, чтобы на глазах солдат высказывались свободные взгляды. Поэтому, чтобы не мешать остальным разговаривать, я обычно, как только начинал разгораться спор, уходил в землянку к фельдфебелю или в ротную канцелярию под предлогом какого-либо дела.

Как-то на днях, сидя в землянке, я услышал сигналы горниста и, выглянув наружу, увидел, что со стороны селения, занятого австрийцами, к нашей позиции подъезжают два всадника. Один из всадников держал в руке белый флаг.

«Парламентеры — мелькнула мысль. — Уж не предложение ли о перемирии?»

Навстречу австрийцам вышел офицер четвертого батальона, напротив участка которого они очутились.

Всадники спешили, им завязали глаза, и они в сопровождении нашего офицера направились через окопы к штабу полка.

Появление австрийцев взбудоражило солдат.

— Мир, мир! — было у всех на устах.

Часа через два парламентеры вернулись обратно, им подали лошадей, сняли с них повязки, и они вернулись к себе.

С нетерпением ждали мы объяснений этого странного посещения, но только к вечеру, будучи у Ханчева, я узнал, что парламентеры приезжали в штаб полка вовсе не затем, чтобы толковать о перемирии. Они сообщили, что австрийской разведкой несколько дней тому назад был захвачен в плен генерал, командовавший соседней кавалерийской дивизией. Так как генерал без сопротивления не сдавался, он был убит разведчиками и, как рассказали парламен-

теры, с должными воинскими почестями похоронен на австрийской территории.

* * *

Наш ротный командир Савицкий, передав фактическое командование ротой прапорщику Ханчеву, поселился по соседству со штабом полка. В окопах мы видим его редко. Но вот как то-недавно он явился к нам, вместе с начальником связи полка штабс-капитаном Розеновичем. Оба были пьяны. Подойдя к взводу и поздоровавшись с солдатами, Савицкий стал расспрашивать где расположены австрийские окопы. Мы показали. Тогда он стал на бруствер, помахал фуражкой, прокричал несколько нецензурных слов по адресу австрийцев, а затем приказал, чтобы я проводил его и Розеновича на участок четвертого батальона.

— Как прикажете проводить, ваше высокоблагородие,— спросил я,— прямо по окопам или, для безопасности, лесом? Это будет немного дальше.

— Чего там лесом — веди прямо!

Я вскинул винтовку на плечо и пошел впереди к землянке командира пятнадцатой роты, расположенной на границе с нашим батальоном. Прошли шагов триста. Австрийцы заметили нашу группу. Раздалось несколько выстрелов. Савицкий и Розенович немедленно прыгнули в ближайший окоп.

— Ничего, ваше высокоблагородие, — сказал я, — здесь стреляют не метко.

— Ты что смеешься, сукин сын, — обиделся Са-
вицкий, — да я тебя под суд отдам!

— Никак нет, ваше высокоблагородие. До пятна-
дцатой роты осталось еще немного, а если итти в об-
ход, нужно возвращаться обратно.

— Веди обратно.

Быстро же у них пропала вся храбрость!

* * *

За время стоянки на позиции, нашей роте еще один
раз пришлось быть в резерве.

Мы расположились в походных палатках, как на
бивуаке. Неподалеку от нашей роты была разбита
палатка командира полка Самфарова. Рядом с ней
находилась глубокая, сильно укрытая землянка, в ко-
торую прятался полковник, когда начинался обстрел.
В свободные от обстрела часы он вместе с полковым
попом, отцом Николаем, сидел за столом около па-
латки за огромным блюдом мороженого и, как рас-
сказывали ребята из полковой канцелярии, погло-
щал это мороженое в неограниченном количестве.

Однажды, проходя мимо палатки Самфарова, ко-
торый, как я уже писал выше, был совершенно лы-
сый, я с удивлением увидел, что вся его голова стала
черной, точно ее облили чернилами. Оказалось, что
наевшись весьма плотно мороженым и уставши от

этой работы, полковник не успел во время спрятаться. Пролетевший снаряд заставил его кубарем скатиться в землянку. Там, в темноте, он стал обтирать свою лысину и по ошибке, вместо платка схватил кусок материи, служившей крышкой при подаче ему различных блюд и яств. Материя была черной, линяла, а может быть была испачкана в саже, и он выкрасил свою лысину и физиономию в черный цвет.

Появление по окончании обстрела выкрашенного Самфарова было встречено громовым хохотом всех присутствующих. С этих пор Самфаров отдал распоряжение, чтобы денщик его пользовался исключительно белыми салфетками.

ГЛАВА XII

ВЕЛИКИЙ ОТХОД

В середине апреля появились слухи, что вправо от нас в районе третьей армии идут ожесточенные бои. Поговаривали, будто некоторые наши части выбиты из позиций первой линии и уже обороняются во второй линии укреплений; со слов штабных писарей передавали, что положение на правом фланге серьезное, что наш район находится уже в полуколыце, и что в ближайшее время для выравнивания фронта придется отступить.

22-го апреля мы получили приказ о переходе в наступление. Время было назначено обычное для Самфарова, т.-е. двенадцать часов и одна минута ночи.

Этот приказ опровергал слухи о предстоящем отходе. Однако за полчаса до назначенного срока мы получили распоряжение оставаться на месте. Еще через некоторое время поступил новый приказ — пер-

вому, второму и четвертому батальонам отойти к южному склону Бескид, а весь участок полка занять двенадцатой ротой и оборонять его во что бы то ни стало. Шла какая-то игра в наступление и отступление, и мы поняли, что от нас что-то скрывают, чтобы не выдавать истинное положение вещей.

* * *

Маленькая подробность, характеризующая еще раз Самфарова: когда был получен приказ из дивизии об отступлении, он вызвал по телефону командира дивизии, чтобы получить от него какие-то разъяснения. Генерал Булатов очевидно сказал ему что-нибудь очень резкое и так испугал Самфарова, что тот, растерянно стоя у телефона, в левой руке держал телефонную трубку, а правую поднес к козырьку, точно находясь перед глазами начальства, и приговаривал:

— Слушаюсь... Так точно... Слушаюсь...

* * *

Когда был получен приказ о том, что позиции всего полка должны обороняться одной нашей ротой, прапорщик Ханчев созвал взводных унтер-офицеров и распределил взводы по участкам. Каждому взводу достался участок, до сих пор оборонявшийся целым батальоном. Пробыть в окопах нам пришлось,

однако, недолго — часа в два ночи по телефону, на наше счастье еще уцелевшему, передали распоряжение тоже начать отход.

Соблюдая полную тишину, в темноте, по тропам, проложенным по лесу, мы начали отступать по направлению к тому леску, где находился штаб полка. Туда мы прибыли на рассвете, но штаба уже не застали. Наугад двинулись в сторону горы Бескид, по дороге, соединявшей полк с тылом, полагая, что полк пошел в этом направлении.

Вскоре мы догнали отставшую артиллерийскую батарею, которая с трудом преодолевала крутой подъем в гору.

Застряло два орудия со снарядами ящиками, и лошади не могли тронуть их с места. Командир обратился к нам за помощью. Стараясь не шуметь, люди на руках тащили пушки вверх. Когда мы уже почти достигли вершины горы, над нами разорвался снаряд противника. За ним последовали другие. Несколько лошадей было убито, и солдаты нашей роты, так же как и прислуга при орудиях, рассыпались по сторонам.

Заботиться о спасении орудий под огнем противника было некогда. Каждый из нас старался как можно скорее добраться до вершины горы, чтобы остаться живым и невредимым, и пушки были брошены на произвол судьбы.

Перевалив на северный склон Бескида, мы увидели свой полк.

Ханчев отправился с рапортом к командиру ба-

тальона. Вернувшись, он сообщил, что положение очень серьезно — третья армия разбита недавно прибывшими немецкими корпусами, немцы уже взяли город Ясло и угрожают прорывом железнодорожной линии. Для того, чтобы наша армия, очутившаяся в мешке, не оказалась окруженной, нам предстоит спешно отступить верст на сто.

Таким образом стоверстное пространство, преодоленное нами с огромным трудом и потерями — бросалось сразу из-за неустойчивости фронта третьей армии.

Вскоре мы подошли к станции Кальница.

Вид ее по сравнению с тем, какой она имела перед пасхой, совершенно неузнаваем. При станции выстроен целый ряд барakov, в которых размещаются различные тыловые учреждения. Здесь же находились огромные склады с продовольствием, штабеля мешков с мукой, крупой и овсом, бесчисленное количество стогов прессованного сена и, кроме того, громаднейшие запасы обмундирования, обуви и других предметов интендантского снабжения. В пакгаузах и на товарной платформе штабелями стояли артиллерийские снаряды.

Подвижного состава на станции уже не было.

Пробыли мы здесь недолго, не более получаса. За это время солдатам предложили получить новое обмундирование и запас консервов.

Отойдя на некоторое расстояние от станции, мы увидели позади себя черные клубы дыма. Горели склады.

Сотни тысячи пудов всевозможного имущества на многие десятки миллионов рублей безжалостно сжигались — а между тем еще неделю тому назад мы голодали, ходили раздетыми и в рваных сапогах... Затем послышались оглушительные взрывы — это подрывали брошенные на станции снаряды.

Вскоре нас обогнал какой-то интендантский чиновник.

Поровнявшись с Ханчевым и Савицким, он весело крикнул:

— Противнику ничего не достанется—все подожгли!

— Вы бы лучше роздали населению, — сказал Ханчев, — ведь продовольствия у населения нет.

— Э, батенька, какое тут население—вражеское, — махнул чиновник рукой. — К тому же я не имел распоряжений.

Чиновник скоро скрылся из наших глаз.

Мы шли удрученные—и отступлением и тем, что уничтожаются запасы имущества и продовольствия, в котором мы так нуждались.

Солдаты ругались открыто, не стесняясь присутствием ротного командира.

— Начальство... Так то его раз-едак! Это все равно, что в Японскую войну, тоже терпели. Отступление, а пока что — жги! Сволочь...

Ропот настолько разрослся, что Савицкий попробовал было прикрикнуть на солдат — но, заметив злобное выражение на их лицах, предпочел убраться вперед и присоединиться к Самфарову, ехавшему

в коляске впереди полка. При наступлении или вообще продвижении вперед, командир всегда держится на приличной дистанции позади части. При отступлении же он едет впереди. Удобно — в первом случае не попадешь первым под обстрел, а во втором своевременно можно удрать...

Перед вечером мы подошли к Сану — как раз к тем окопам, которые мы занимали после переброски нашего полка из Буковины.

В один день мы проделали тот же путь, на который недавно пришлось потратить полтора месяца.

Нам объявили, что на Сане полк задержится, что отступление кончилось, и теперь надо привести в порядок разрушившиеся за наше отсутствие окопы. Мы прошли за день не менее сорока верст и все же измученные, усталые, принялись за работу, полагая, что действительно задержимся здесь надолго. Однако, на следующий день было получено новое распоряжение — рыть окопы на вершине горы, над Саном, а старые — бросить.

Не прошло и нескольких часов после перехода на новое место, как разразился сильнейший артиллерийский обстрел со стороны австрийцев.

В ответ на это наша артиллерия выпустила всего лишь несколько снарядов, очевидно экономя их. Да и неудивительно — ведь огромные штабеля снарядов были брошены на станции Кальницы, и может быть где-нибудь по близости есть еще такие же склады, ожидающие той же участи...

Ночью, вопреки всем дневным словам и распоряжениям начальства, снова началось отступление. Опять по трудно проходимым тропкам, мы переваливали с горы на гору, бросая по пути имущество уже из собственного обоза...

* * *

Отступление продолжалось дней десять, причем ежедневно в крупных населенных местечках мы встречали склады продовольствия, амуниции, артиллерийских снарядов, оружия. Все это не вывозилось, а предавалось уничтожению.

Картина отступления русской армии из Манчжурии, описанная Вересаевым в записках «На Войне», бледнеет перед тем, что пришлось нам увидеть сейчас.

Особенно большие запасы имущества были уничтожены на станции Хиров, служившей основной базой для питания корпусов, находившихся в Карпатах.

В железнодорожных пакгаузах этой станции и в прилегающих к ним строениях в бесчисленном количестве были свалены посылки, присланные с родины солдатам и офицерам. Из-за отсутствия транспортных средств они не доставлялись по назначению и месяцами валялись здесь. Вывезти их, конечно, было невозможно, и начальство расщедрилось—решило раздать эти посылки проходившим частям. Каждому солдату позволяли брать столько, сколько он в состоянии унести.

В посылках оказалось белье, которого хватило на всех людей взвода, много консерв, часть которых мы съели в тот же вечер, много шоколада, папирос и других предметов походной роскоши. В одной из посылок лежало письмо матери, написанное сыну-солдату. Она подробно перечисляла содержимое посылки, благословляла сына и особенно просила его беречь вышитую ею салфеточку...

* * *

Подошли к деревне Крукеницы.

Огромная деревня тянулась на несколько верст. Солдаты-саперы воздвигали перед ней проволочные заграждения, а мобилизованное население рыло окопы.

Это была новая линия укреплений, соприкасавшаяся одним концом с Перемышлем. Мы вышли на линию Перемышль — Самбор, на которой, очевидно, разыграется генеральный бой. Перемышль должен играть главную роль, парализуя наступление австрийцев огнем своих сильно вооруженных и укрепленных фортов.

Окопы сооружались в южной части Крукениц. В северной же части, отдаленной от окопов на несколько верст, разместились штабы, в том числе штаб нашей дивизии, а по соседству с ним — штаб нашего полка.

Первые два дня прошли без боев — преследовавшие нас австрийцы утомились и отстали... Отсту-

пление ведется так быстро, что противник не успевает даже догонять нас!

Май.

6-го мая первый и второй взводы ушли вместе с прапорщиком Ханчевым на работы по постройке второй линии Крукеницкой позиции. Меня, как временно исполнявшего обязанности фельдфебеля, оставили во главе второй полуроты, и я занялся составлением отчетности для представления в хозяйственную часть полка.

Часа в два дня с фронта слышалась артиллерийская канонада. Не придавая этому значения, я спокойно продолжал свои занятия. Однако движение и суетня, поднявшиеся в деревне, были настолько необычны, что заинтересовали меня, и я вышел к находившейся рядом с хатой полуроте.

По улицам бегали взад и вперед ординарцы из штаба полка и дивизии. Спешно выстраивался расположенный неподалеку девятый полк. Отовсюду неслись крики: — Стройся... Выходи... — и т. д. Мимо пробежал командующий нашим батальоном Иванов.

Полагая, что тревога вызвана какими-то серьезными осложнениями, я приказал приготовить взводы к выступлению.

Взводы построились.

Через несколько минут прибежал ординарец от командира батальона с приказанием немедленно вести полуроту к штабу полка.

Штаб полка, как я уже сказал, помещался рядом с дивизионным штабом. Перепутав второпях дом, мы остановились против штаба дивизии. Спohватившись, я хотел было уже повернуть полуроту обратно, как вдруг перед нами показался генерал Булатов и спросил:

— Какая часть?

— Вторая полурота двенадцатой роты, одиннадцатого Тульского полка, ваше высокопревосходительство, — впопыхах отрапортовал я.

— Зачем сюда пришли?

— По распоряжению командира, полковника Иванова. Полурота получила приказание построиться около штаба полка, куда я сейчас и направляюсь, ваше высокопревосходительство.

— Оставайтесь здесь, в моем распоряжении. Никуда без моего приказа не уходить.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

Во время этого разговора подошел полковник Иванов. Столкнувшись с Булатовым, он растерялся.

— Вы кто, полковник? — обратился к нему Булатов.

— Я, я, я... Командира батальона.

— Вижу, что командир. Я вас спрашиваю — какого.

— Одиннадцатого полка, ваше превосходительство.

— Хм... В полку четыре батальона!

— Третьего батальона, ваше превосходительство.

— Где батальон?

— Батальон на работах, ваше превосходительство, а тут полурота двенадцатой роты.

— Бестолковый вы полковник. Унтер-офицер лучше вас умеет отвечать, — хмуро сказал Булатов и пошел дальше.

Иванов начал расспрашивать, о чем говорил со мной Булатов. Я доложил, что полуроте приказано находиться здесь и никуда не двигаться без распоряжения командира дивизии.

Иванов на мгновение задумался и затем, обращаясь ко мне, произнес:

— Тогда и я здесь останусь.

«Конечно, — подумал я, — куда приятнее быть около штаба дивизии, чем при батальоне, который могут послать на фронт».

Суетившиеся вокруг штаба офицеры выносили из помещения чемоданы и укладывали их на повозки. Мимо них из штаба полка в штаб дивизии пробежал писарь Воропаев.

Я остановил его:

— Скажи, Павлуша, что случилось? Почему такая паника?

— Да, видишь ли, австрийцы прорвали четырнадцатую дивизию, захватили ее артиллерию... Дивизия просит поддержки. Булатов посылает на выручку девятый полк. Хотел бросить и наш, да он на работах.

Стрельба на фронте не прекращалась, а наоборот, казалось усилилась и придвинулась ближе. Мимо нас быстрым шагом, с полковником Неймандом во

главе, прошел наш четвертый батальон, не успевший еще выйти на работу. Его, повидимому, тоже бросили на затычку прорыва.

Стоять без всякого дела нам скоро надоело. Я отвел свою полуроту через дорогу на огород. Составив ружья в козла, солдаты принялись рыть землянки-убежища. Опыта и навыка в этом деле у нас много и не далее как через час-два убежища были готовы. Для большей безопасности мы прикрыли землянки бревнами, взятыми от разобранного для этой цели сарая.

Работа была в полном разгаре, когда мы увидели возвращавшегося в штаб дивизии генерала Булатова — он поднимался на колокольню, чтобы посмотреть, как идет наступление австрийцев. Увидев, что мы вместо бесполезного стояния на дороге занялись сооружением убежищ, он одобрительно покачал головой.

Под вечер прибыл Ханчев с другой полуротой. Узнав о распоряжении генерала Булатова, он тоже решил воспользоваться им. Таким образом вся двенадцатая рота очутилась непосредственно в распоряжении начальника дивизии, в полной безопасности.

ГЛАВА XIII

БОИ У КРУКЕНИЦ

Май

В течение целой недели не утихали упорные бои за восстановление положения, нарушенного прорывом. Отнятую было австрийцами артиллерию снова захватили обратно. В этом деле особенно отличился четвертый батальон нашего полка под командой Нейманда, несколько раз переходивший в рукопашную атаку.

Наступление австрийцев задержалось по всему фронту. Занятая русскими частями линия окопов соприкасается с Перемышлем и форты этой крепости энергично поддерживают своим огнем наши войска.

Двенадцатая рота в течение почти десяти дней оставалась перед штабом дивизии в полном бездействии, вызывая этим зависть у других рот полка. Булатов словно забыл о нашем существовании, и мы отдыхали в то время, как другие части не выходили из боев.

Пребывание наше около штаба было, конечно, использовано и командиром батальона Ивановым, который не отходил от нас, несмотря на то, что три остальных роты его батальона находились на позиции.

После десятидневного отдыха нас все же отправили в окопы — но и то не в первую линию, а в резерв.

* * *

Когда бои на участке четырнадцатой дивизии окончились, наши санитары взялись за поиски убитых и раненых.

Вернувшись однажды утром после рытья окопов запасной линии на свой участок и принявшись за чай, мы заметили, что шагах в ста от нас, как-то странно колышется высоко растущая рожь. В то время стояло полное безветрие, и мы заподозрили, что во ржи прячется кто-нибудь живой.

Доброволец нашей роты, Литкенс, студент-медик по образованию, и еще двое солдат отправились посмотреть, в чем дело. К величайшему удивлению всей роты они обнаружили во ржи тяжело раненого австрийца. Он был в полном беспомоществе и находился почти в предсмертной агонии.

Сейчас же были вызваны санитары. Раненого на носилках притащили в одну из землянок роты.

Это был полутруп, уже начавший заживо разлагаться. Несколько капель коньяка из фляжки Лит-

кенса вызвали его к жизни. Он застонал, хотя в беспомощности, конечно, был не в состоянии произнести ни слова.

Австриец пролежал без воды, без пищи и без всякой помощи, несмотря на тяжелое ранение в живот, восемь суток. Мне невольно вспомнился рассказ Гарины «Три дня», в котором он рисует русского раненого, пролежавшего в жаркое время три дня в полном одиночестве. Но ведь трое суток — не восемь...

Вид раненого австрийца, молодого парня лет двадцати пяти, с которого уже начала ползти кожа и который в течение восьми дней — или вернее до впадения в беспомощность — в страшных мучениях ожидал, что его кто-нибудь спасет, произвел самое тягостное впечатление на всех солдат. Литкенс помогал санитарам укладывать его на носилки и сам вместе с санитарями отправился сопровождать его в ближайший перевязочный отряд.

Бедняга вряд ли будет возвращен к жизни ¹.

21 мая

Часов в одиннадцать утра мы получили приказ отправиться на участок первого батальона, перейти

¹ Дальнейшая судьба австрийца оказалась благоприятной. То, что он, раненый в живот, пролежал в течение долгих суток без всякой пищи и воды — спасло его. Мне передавали впоследствии, что он поправился, но вышел из лазарета совершенно седым.

оттуда в наступление на небольшую рощицу, занятую австрийцами и, выбив противника, закрепиться на его месте.

В наступление мы должны были перейти немедленно, при чем поддержки со стороны артиллерии нам не обещали.

Итти пришлось узким ходом сообщения, настолько неглубоким, что скрыть движение от австрийцев было невозможно. Шли вытянувшись в редкую цепочку, сгибаясь в три погибели, чтобы неприятельская пуля не зацепила голову; на расстояние примерно с версту потратили не менее полутора часа. Когда добрались до назначенного пункта, из которого должно было начаться наступление, получили от штаба полка еще один приказ, подтверждавший необходимость атаки.

Итти в атаку днем, по абсолютно открытой местности, под ураганным огнем противника!.. Мы прекрасно понимали, что вернуться из этого наступления живым и невредимым невозможно — в лучшем случае большинство из нас попадет в плен; ждать же благополучного возвращения обратно или тем более рассчитывать на успех атаки не приходится вовсе.

Капитан Савицкий благоразумно заболел расстройством желудка и остался в землянке батальонного командира. Вести нас в наступление должен был замещавший Савицкого прапорщик Ханчев.

Все взводные в один голос говорили ему, что из попыток атаковать рощу ничего не выйдет, что солдаты, видя условия наступления, нервничают и гово-

рят, что их посылают на верную смерть. Ханчев соглашался с этим, но не выполнить приказ штаба боялся.

— Что же делать, — говорил он, — надо идти.

Мы, не пытаясь больше уговаривать его, в самом мрачном состоянии отправились к своим взводам, чтобы отдать последние распоряжения. Ханчев сообщил нам, что будет руководить наступлением из окопов. Понятно! Разве нужно ротному командиру быть вместе с солдатами? То ли дело оставаться в землянке... ведь «руководить» вполне можно и оттуда!

С выходом из окопов на открытое место мы не торопились, всячески оттягивая этот страшный момент в ожидании, что обстановка, авось, изменится и нас остановят. Пока мы в ужасном волнении ожидали команды о переходе в атаку, из штаба полка пришло приказание первому батальону отойти в резерв — в землянки, оставленные утром нашей ротой.

Батальон снялся и тем же ходом сообщения, по которому недавно пробирались мы, двинулся в резервную линию.

Мы остались одни. Стало еще тяжелее: в случае большого перевеса сил противника мы не могли даже рассчитывать на поддержку со стороны первого батальона, в то время как раньше были уверены, что он останется позади нас в виде опоры.

Прошло еще полчаса.

Из штаба полка по телефону запросили Ханчева,

вышла ли рота в наступление. Ханчев ответил, что сейчас выходит. Через некоторое время последовал второй запрос, потом третий — каждые пять минут батальонный командир Иванов и оставшийся с ним в землянке капитан Савицкий по телефону справлялись о нас. Наконец — о счастье! — телефонограмма из штаба полка, адресованная всем командирам батальонов. Наш телефонист случайно перехватил ее. Телефонограмма гласила:

«Батальонам полка постепенно, не вызывая подозрения со стороны противника, сниматься из своих окопов и скрытно стягиваться в резервные окопы с тем, чтобы с наступлением темноты перейти к дальнейшему отходу».

Для нас, бывших на фронте с самого начала войны, стало ясно, что утренний приказ о наступлении носил демонстративный характер — командир полка путем жертвы хотел безболезненно вывести остальные батальоны из окопов.

Этой жертвой, заранее обреченной на гибель, должны были стать мы.

После того, как мы узнали содержание телефонограммы, нелепость, ненужность атаки была очевидна. По настоянию громко роптавших солдат взводные унтер-офицеры категорически заявили Ханчеву, что рота останется в окопах хотя бы до поздней ночи, будет отстреливаться от австрийцев, но выступать вперед — не намерена.

Ханчев принял наше заявление спокойно — он

сам очевидно не особенно стремился покидать окопы и понапрасну губить людей.

Вместо того, чтобы атаковать австрийцев, рота осталась на месте, посылая ружейные пули в сторону рощи, занятой противником.

Когда стемнело, мы, не ожидая приказаний из штаба полка, тихо свернулись и прежней дорогой, прежним ходом сообщения стали отходить в тыл.

Только добравшись до того места, откуда выступали утром, мы получили официальное распоряжение отходить по направлению к Буховцам. Таким образом наше сопротивление и нежелание исполнять приказы начальства спасло людей двенадцатой роты от полной гибели.

Нас всех глубоко возмущает эта, уже не раз практикуемая штабом полка, манера бросать небольшие части на уничтожение в тот момент, когда полку требуется отступать. Почти всегда это совершенно бесцельно, ибо австрийские разведчики и лазутчики все равно прекрасно осведомлены о каждом нашем передвижении, особенно в тех случаях, когда отступление идет по всему фронту.

* * *

Вчера утром, после того как мы присоединились к полку, было получено известие, что пал Перемышль. Вся русская армия откатывается из Галиции к своим границам.

На рассвете 22-го мая полк приблизился к селению Буховец, по южной окраине которого тянулись укрепления, подготовленные инженерными войсками.

За время отступления с Карпат мы уже не раз сталкивались с этими укреплениями так называемыми второй и третьей очереди. Они всегда бывали прекрасно распланированы по всем требованиям устава, оборудованы козырьками, предохраняющими солдат от шрапнельных пуль — но никогда не удовлетворяли занимавшие их войска.

Недостатки окопов заключались в том, что их направление в большинстве случаев не совпадало с направлением фронта, образующимся при отступлении. Целый ряд местных условий, и, главным образом, действия наступающего противника, изменяли предположения и проекты инженеров, планировавших укрепления не в боевой, а в спокойной обстановке. Кроме того, построенные по требованиям инженерного устава, окопы не соответствовали тем требованиям, какие стали предъявляться в результате опыта, полученного за год войны. Окопы сооружались так же как принято было строить их в мирное время на учении — хорошо подчищенные и правильно растрассированные, они оказывались настолько узкими, что мешали движению и совершенно не были снабжены убежищами, в которых можно было бы укрываться от огня тяжелой артиллерии.

Все это приводило к тому, что укрепления приходилось переделывать заново; приходилось изменять их направление, создавать новые ходы сообщения для подноски патронов и пищи и устраивать убежища разбирая для этого сараи и другие строения ближайших деревень.

Под Буховцем мы встретили укрепления именно такого типа.

Немало часов пришлось потратить на то, чтобы переделать окопы, и мы успокоились только поздним утром, когда наконец убедились, что все в порядке и нам можно будет не только стрелять, но и укрываться от обстрела противника.

Едва успели мы окончить работы, как увидели командира полка, полковника Музеуса (неделю тому назад он снова принял полк под свое начало, в то время как Самфарова перебросили на командование девятым полком нашей же дивизии). В сопровождении полкового священника и адъютанта Музеус обходил окопы и разговаривал с солдатами, пытаясь ободрить, воодушевить их. Нельзя сказать, чтобы это особенно удавалось ему, так как трудно воодушевить людей, вынужденных работать после больших и трудных переходов, не получающих регулярно пищи и в довершение всего неуверенных долго ли придется им просидеть на новом месте.

Участок двенадцатой роты пришелся на левый фланг, по соседству с двенадцатым полком.

Непосредственно перед нашими окопами, шагах

в пятидесяти начинался лес. Противнику нетрудно было сосредоточить здесь крупные силы и затем, пользуясь близостью расстояния, перейти к рукопашному штурму.

Прапорщик Ханчев обратил внимание Музеуса на неудачность нашей позиции, на опасность атаки со стороны австрийцев и попросил усилить наш участок несколькими пулеметами.

Выслушав Ханчева, Музеус ответил:

— Ваши соображения, прапорщик, совершенно справедливы — действительно на этом участке можно ожидать наступления. Но посудите сами — вы находитесь на таком опасном месте, что нет никакой гарантии, что противник не выбьет вас, и что пулеметы не попадут к нему. Вы знаете, что у нас мало пулеметов... Пусть уж лучше пострадает рота.

Эти слова были произнесены в присутствии солдат и, конечно, не очень «ободрили» нас.

К концу дня австрийцы, как и следовало ожидать, сосредоточились в лесу, повели наступление, и только благодаря бдительности солдат и заранее принятым мерам предосторожности, роте удалось усиленным огнем рассеять их цепи.

Однако, потерпев неудачу, австрийцы не успокоились и выкинули совершенно неожиданный номер. Группа их, человек в пятьдесят, вышла из лесу с белым флагом в руках. Мы решили, что австрийцы хотят сдаться в плен (такие случаи бывали неоднократно, особенно если передовые австрийские части были

укомплектованы галичанами или чехами). Многие из солдат, оставив винтовки на бруствере вышли из окопов к ним навстречу. Австрийцы шли с винтовками. Приблизившись вплотную к солдатам, покинувшим окопы, они с криком «хох» бросились на них, и в какие-нибудь несколько минут увели с собою чуть ли не целую роту.

Этот казус оживил деятельность штаба дивизии и спустя некоторое время через наши головы в сторону австрийцев полетели артиллерийские снаряды.

Перед сумерками австрийцы снова двинулись в наступление — но на этот раз уже без белого флага.

Угрожали они, главным образом, участку нашего четвертого взвода, солдаты которого благодаря пересеченной местности не могли стрелять из окопов достаточно успешно. Однако взводный унтер-офицер Берсеньев не растерялся — он вывел свой взвод на бруствер и солдаты открыли огонь стоя на бруствере. Будь в распоряжении взвода пулемет, австрийцы были бы уничтожены целиком. Сейчас же они, уклоняясь от огня, подались в сторону двенадцатого полка, выбили несколько рот из окопов первой линии и, не задерживаясь, начали продвигаться дальше.

Пришлось бросить на поддержку резервы и только поздней ночью удалось после значительных потерь восстановить положение... А все из-за того, что наш левый фланг не был обеспечен пулеметами.

* * *

У Буховца наши части продержались всего три дня. Затем снова началось отступление по всему фронту в сторону Львова.

В первую очередь эвакуировались штабные учреждения и обозы. Отходя по их следам, мы почти на каждом шагу видели огромные запасы имущества. Иногда это имущество сжигалось, но чаще всего попросту бросалось на произвол судьбы. Очевидно психоз отступления действует больше всего на тыловую публику. Им даже в голову не приходит заблаговременно увезти или в крайнем случае уничтожить запасы снаряжения, фуража и обмундирования, которые из-за этого неизбежно попадают в руки противника.

* * *

Однажды, будучи в арьергарде, мы услышали крик:

— Кавалерия справа!

Надо сказать, что при отступлении пехотных частей наступление кавалерии всегда вносит в солдатские ряды необычайную панику. По представлениям пехотинца кавалерия сметает все встречающееся на ее пути — и достаточно пехотинцу услышать крик «Кавалерия!», как перед его глазами встают картины, подобные лубочным изображениям отечественной или русско-турецкой войны: ему мерещится, что конница

с шашками наголо или с пиками на перевес мчится на пехоту, топчет солдат под ноги лошадей, сшибает головы шашками и насквозь пронизывает людей пиками.

Трудно представить себе, что творится в такие минуты. Люди с бледными искаженными лицами бегут куда попало, точно спасаясь от уже занесенной над ними сабли, повозки, зарядные ящики и орудия бросают на месте, а ездовые, перерубив построшки и вскочив на лошадей, удирают без оглядки... Между тем в действительности кавалерия не так страшна. Об этом много говорилось и в уставах и на занятиях мирного времени. Да и солдаты-кавалеристы сами говорят, что конница больше всего боится пехоты и ружейного огня организованной пехотной части.

Сейчас об этом не вспомнило даже наше начальство: паника, возникшая от одного только возгласа, что справа видна кавалерия, была настолько сильна, что все опомнились лишь после того, как пробежали несколько верст. Когда же мы наконец остановились и пришли в себя, то увидели, что, во-первых, никакой кавалерии нет и не было, а во-вторых, что мы остались без самого необходимого имущества — без патронов, кухонь и повозок с продовольствием...

* * *

В походе, во время отступления, мы часто видели крестьян, работавших в поле. Однажды утром, когда

положение наше было особенно тревожно, т.-к. австрийцы преследовали нас буквально по пятам, полицейская команда штаба полка заметила старика-поляка, который при помощи самодельной сажени измерял засеянный участок земли. Команда почему-то вообразила, что он следит за нашими частями, чтобы сообщить сведения о них австрийцам. Старика арестовали, привели в штаб и после допроса, снятого начальником команды разведчиков, поручиком Боровским, предали военно-полевому суду.

Суд, под председательством полковника Хохлова, рассмотрев донесение полицейской команды и результат допроса «шпиона», представленный поручиком Боровским, вынес приговор о расстреле.

Расстреляли старика тут же, в деревне, на глазах у солдат.

Ребята из канцелярии, присутствовавшие при разборе дела, рассказывали, что бедняга не понимал даже, за что его судят, и конечно не предполагал, какая его ожидает участь. Он оказался жителем ближайшего селения; сын его был мобилизован в австрийскую армию и он своим трудом содержал большую семью. Ему было уже около семидесяти лет и он был почти совсем глухой. Именно глухота и погубила его — он не слышал вопросов, которые задавали ему, ничего не отвечал, а судьи думали, что он делает это нарочно и, стало быть, виновен.

ГЛАВА XIV

ОТСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Июнь

Несмотря на поспешность отступления, мы все были уверены, что Львов ни в коем случае не будет сдан противнику. Офицеры уверяли нас, что под Львовом возведены сильнейшие укрепления и сосредоточены большие силы, к которым должны присоединиться к тому же еще и те части, что составляли гарнизон Перемышля и освободились после сдачи этой крепости противнику. В виде доказательства полной безопасности Львова приводили, между прочим, то обстоятельство, что к эвакуации военных запасов всего Юго-Западного фронта, находящихся во Львове, до сих пор не приступают. Это казалось нам особенно убедительным.

К Львовским укреплениям мы подошли на рассвете и действительно встретили сильно укрепленные окопы,

построенные по последнему слову фортификации, с несколькими рядами проволочных заграждений. При окопах, вместо землянок были устроены блиндажи со стальными щитами.

Войска разместили в окопах очень густо. Участок нашего, например, полка был настолько мал, что его едва хватило на один батальон, и остальные два батальона составляли как бы его непосредственный резерв.

Близость Львова со всеми его благами раздражала наших господ офицеров. Все они стремились во что бы то ни стало попасть в город, чтобы сделать себе запасы, главным образом, выпивки.

В течение целого дня австрийцев не было видно. Мы спокойно просидели в благоустроенных окопах, отдыхая после длительных переходов, в конец истомивших солдат. Никто из нас не сомневался в том, что нам долго придется простоять на новых позициях, и каждый старался устроиться поудобнее.

Наступила ночь. Солдаты стали располагаться в блиндажах на ночлег. Настроение у всех было хорошее, а т. к. за время непрерывных походов все изголодались, было особенно приятно вспоминать, что Савицкий послал в город артельщика за свежими продуктами для завтрашнего обеда. Пользуясь поездкой артельщика, многие из нас отдали ему свои солдатские гроши с наказом купить табаку, папирос, бумаги, конвертов и т. п. — предвкушали получение этих покупок на утро и собирались писать домой пись-

ма... Словом засыпали мы в самом радостном расположении духа.

В третьем часу ночи нас неожиданно разбудили и приказали построиться.

— Идем на другой участок, — объясняли офицеры, — а возможно и в резерв. Здесь и так много войск, а мы с самого момента отступления из Карпат все время в боях.

Полк снялся с позиции. Мы прошли верст десять, обогнули Львов, выбрались на шоссе, ведущее к русской границе, и по этой дороге за день сделали не менее сорока верст...

Вот тебе и сильнейшие укрепления!

Так, без единого выстрела была сдана столица Галиции со всеми баснословными запасами военного имущества, которое не эвакуировалось во-время по тем соображениям, что Львов «чрезвычайно сильно укреплен».

Нашему полку не пришлось проходить через город и потому мы не видели тех безобразий, которые обычно происходят при сдаче больших городов.

* * *

Отход русских войск продолжается все дальше и дальше.

На другой день после сдачи Львова, полк задержался «на заранее укрепленной позиции». На этой остановке в полк влилось пополнение — несколько

маршевых рот, которые, по словам прибывших, ожидая назначения в какую-либо часть, блуждали по фронту уже около месяца.

Прибывшее пополнение — около шестисот человек — сплошь состояло из невооруженных солдат.

Нужно сказать, что за последнее время вообще установился обычай посылать пополнение на фронт без оружия. Делается это якобы из тех соображений, что во время пути бывали случаи дезертирства и утери винтовок. Насколько вздорно это объяснение можно судить по тому, что для вновь прибывающих не отпускают оружия и на фронте. Влившись в нашу роту под командой зауряд-прапорщика Лашенкова новички в течение двух недель сидели без винтовок и получали их лишь по мере того, как из роты выбывали больные или раненые.

На позиции у села Стешаны мы задержались около двух суток.

Первый день ушел на переоборудование окопов, на устройство ходов сообщения, на установление связи и т. п. На следующий же день сначала показались австрийские разведчики, а затем окопы подверглись жесточайшему обстрелу австрийской артиллерии.

Наша артиллерия, как обычно, отвечала весьма слабо.

В этот день был ранен обходивший окопы командир полка Музеус и во временное командование вступил полковник Измайлов.

К вечеру артиллерийский огонь противника развился настолько, что соседняя с нами рота была буквально засыпана в своих окопах землей.

Перед наступлением сумерок австрийцы пробовали густыми цепями наступать на наши позиции. Находящиеся перед окопами посевы скрывали движение неприятельских частей и затрудняли отпор с нашей стороны.

Сидеть в окопах в то время, когда на них надвигаются вражеские цепи — куда страшней, чем наступать самому. Жутко было и сейчас — ощущение такое, точно тяжелая человеческая масса, под прикрытием ураганного артиллерийского огня, движется сплошной стеной, чтобы раздавить и сокрушить на своем пути все живое. Нервы у всех напряглись до предела. Прапорщик Ханчев, командовавший ротой (Савицкий находился «в болезненном состоянии» при штабе полка), разделил роту на три участка и распределил командование ими между собой, студентом-добровольцем Литкенсом и мною. Изредка мы сходились вместе и советовались, как поступать в том или ином случае. Литкенс пытался использовать свои знакомства с артиллеристами и в штабе дивизии — звонил по полевому телефону непосредственно на артиллерийский наблюдательный пункт с просьбой сосредоточить огонь на участке против нашей роты и пробовал даже обращаться с подобным ходатайством непосредственно к начальнику дивизии, за что получил от него нахлобучку — за обращение не по команде.

Наше положение ухудшалось еще тем, что, по крайней мере, треть роты была без винтовок. Держаться с каждой минутой становилось все трудней и трудней и, в конце концов, мы решились на крайнюю меру — перешли в контр-атаку. Как только одна из австрийских цепей дрогнула под нашим обстрелом, второй взвод полностью выбежал из окопов и, пользуясь замешательством противника, захватил в плен человек пятьдесят. Винтовки пленных были немедленно розданы сидевшим без оружия, и таким образом рота вооружила себя для дальнейшего боя.

* * *

Сейчас не только нет винтовок, но нехватает и патронов. А ведь еще недавно, когда мы шли по полям Галиции в постоянном ожидании встречи с противником, командование полка обязывало солдат иметь при себе запас патронов не в сто двадцать штук, как полагалось по уставу, а значительно больше. Доходило до того, что каждый стрелок имел при себе до трехсот патронов — т.-е. почти пуд груза. При больших переходах это, конечно, утомляло солдат и они, стараясь освободиться от лишней тяжести, выбрасывали патроны куда-нибудь в канаву. Брошенные патроны можно было бы при желании собирать целыми повозками, но никто этого не делал.

Теперь о винтовках. Я помню, как в августе и сентябре месяцах 1914 г. нам приходилось встречать

огромные пространства, буквально усеянные русским и германским оружием, оставшимся неподобраным после крупных сражений. Останавливаясь на ночлег и на бивуак, солдаты для того, чтобы разжечь костер, разбивали винтовки, обращая их ложе в топливо. Лично я тоже принимал в этом участие, портил без всякого сожаления австрийские винтовки, чтобы устроить костер и согреться или вскипятить чай.

Таким образом уничтожалось оружие огромной ценности. Теперь же, во время отступления из Галиции, многие солдаты попадают в бой безоружными, в чаянии заполучить винтовки после тех, кто выбывает из строя.

* * *

Под Стешанами мы отбивались от австрийцев до двенадцати часов ночи — до тех пор пока не поступило распоряжение снова начать отступление. Под носом у австрийцев, отстреливаясь, мы по очереди вывели взводы из окопов и стали отходить назад. Казалось, что преследованию не будет конца...

На наше счастье стоит прекрасная погода — это хоть немного облегчает переходы. Но я лично чувствую себя настолько переутомленным, уставшим, что на остановках вынужден лежать по несколько часов, чтобы успокоить сердцебиение. На-днях у меня был сильный сердечный припадок, после которого Литкенс посоветовал мне отправиться в околосок и эвакуи-

роваться для лечения в тыл. По его словам я могу выдержать не более двух-трех недель. Однако я знаю, что отношение к больным самое скверное — их рассматривают как симулянтов — и потому решил остаться в роте.

* * *

Я уже писал, что пополнение было приведено к нам зауряд-прапорщиком Лашенковым.

Любопытный тип! До призыва на войну он служил в Полтавской губернии казначейским чиновником. Был унтер-офицером в русско-японской войне, где и дослужился до чина зауряд-прапорщика.

Зауряд-прапорщик это выше нижнего чина, нечто среднее между прапорщиком и подпрапорщиком. Солдаты обязаны называть его «господин прапорщик», а он имеет право обращаться к офицерам не титулуя их — т.-е. называя не «ваше благородие» или «ваше высокоблагородие», а просто «господин поручик» «господин полковник» и т. д.

Уже пожилой, с начинающейся проседью, с маленькими желтыми глазками, постоянно перебегающими с предмета на предмет и с вкрадчивыми манерами, Лашенков производил впечатление хитрой канцелярской крысы.

Как-то мне пришлось быть свидетелем его разговора с Ханчевым.

— Господин прапорщик, — обратился Лашенков к Ханчеву, — ведь война!

— Да, война.
— И стреляют здесь.
— Бывает, — засмеялся Ханчев.
— А ведь, пожалуй, и убить могут?
— Бывает, что и убивают.
— Так, пожалуй, и меня могут убить?
— Отчего-же, за милую душу!
— Господин прапорщик, а ведь у меня семья.
— Так в чем же дело? Какое это имеет отношение к войне?

— А то, что не можете ли вы написать командиру полка рапорт, что я нахожусь в действующей части под непосредственной опасностью. Может быть начальство обеспечит мою семью.

— У нас это не практикуется, — ответил Ханчев, — да и все равно вы ничего не добьетесь. Если хотите подать мне рапорт с каким-либо ходатайством, я провожу по команде, а писать от себя я не могу.

— Жаль. А я думал, что можно прямо от вас... Я старый боевой зауряд-прапорщик... Скажите, а в прапорщики я могу рассчитывать быть представленным?

Ханчев рассмеялся.

— Отчего же, стоит только вам соответствующим образом отличиться. Возьмите неприятельскую батарею или разбейте со взводом целый полк противника или сделайте еще что-нибудь в этом роде.

— Да, я подумаю. Нужно будет что-нибудь такое сделать.

Слушавшие этот разговор солдаты открыто хохотали

над хитростью, наивностью и в то же время карьеризмом Лашенкова... А спустя час, я видел как Лашенков с двумя унтер-офицерами сражался в «очко».

Этот будет прапорщиком!

* * *

Солдаты пополнения, приведенного Лашенковым, рассказывали о последних часах Львова, свидетелями которых им пришлось быть.

По их рассказам Львов был наводнен множеством различных тыловых учреждений и штабов, и стало быть офицерами и различными хозяйственными чинами. Когда стало известно о приказе сдать Львов без боя, находившиеся в городе русские «воины» бросились громить лавки, торговавшие спиртными напитками. Около каждого винного магазина скоплялись огромные толпы пьяных и полупьяных солдат. Они не стесняясь выбивали окна, тащили бутылки и все, что попадалось под руку; не ограничиваясь разгромом магазинов, принялись они и за винные склады.

Опасаясь нападения пьяной дезорганизованной, потерявшей всякое представление о дисциплине толпы, население закрывало наглухо двери и ставни окон. Офицеры, если и не принимали личного участия в погроме, то это за них делали денщики и ездовые, обычно сопровождавшие офицеров.

Говорили, что было несколько случаев насилия над женщинами, чуть ли не прямо на улице.

Никакой охраны города или надзора за порядком не было. Страх перед австрийцами, вплотную подступившими к городу, пропал и значительная часть тыловых учреждений, а также возглавлявшие их офицеры и чиновники, застряли во Львове, не выехав оттуда по «пьяным» обстоятельствам.

Самое разнообразное имущество осталось в городе в неопишуемых количествах. На товарной станции Львова несколько поездов, готовых к отправлению с большими ценными грузами, не были выпущены, т. к. паровозы захватили для вывоза всевозможного барахла, награбленного штабной публикой.

* * *

Наш батальон получил распоряжение отправиться в дивизионный резерв, где по слухам нас ждала, по крайней мере, неделя отдыха. Конечно, настоящего отдыха мы все равно не ждали—особенно если будет продолжаться отступление. Мы понимали, что в этом случае придется по-прежнему делать большие переходы, но надеялись, что зато освободимся хоть от боевых столкновений с противником.

Нас сменили ночью и ночью же, вернее на рассвете, мы подошли к селению, предназначенному для дивизионного резерва—верстах в трех от штаба дивизии, который, в свою очередь, находился на расстоянии нескольких верст от окопов.

На следующий день мы были свидетелями своеобраз-

разной деятельности казачьей сотни, охранявшей штаб дивизии: казаки согнали крестьян села к церкви и заставили их снимать с колокольни колокола. Оказывается есть распоряжение свыше снимать при отступлении со всех церквей колокола и направлять их вглубь страны для переливки в металл, идущий на изготовление снарядов и орудий.

Ханчев, инженер по образованию, говорит, что подобное распоряжение абсурдно. Металл, употребляемый на литье колоколов, содержит в себе не только медь, но примесь бронзы и серебра, отделить которую от меди технически невозможно. Однако, колокола все же снимались по всему фронту, грузились на платформы и отправлялись в тыл. В то же время ценнейшие военные предметы, вывоз которых должен бы являться первой заботой начальства, оставались брошенными на произвол судьбы или уничтожались.

Казачья сотня, охранявшая штаб дивизии, кроме возни с колоколами имела и другие занятия — отбирала, например, у населения повозки, необходимые якобы для вывоза военного имущества. В действительности по большей части вывозились конечно вещи офицеров — благоприобретенные или награбленные.

Нужно сказать, что случаи мародерства и грабежей (иначе не назовешь!) со стороны офицеров за последнее время вообще очень распространены. Не так давно, например, я встретился с доктором Блюмом и он рассказал мне о том, как расправились офицеры девятого полка нашей дивизии с имуществом в имении князя

Радзивилла, одного из крупнейших помещиков Галиции.

Дом, вернее дворец, князя Радзивилла изобилует прекраснейшей мебелью, огромными запасами посуды, столовым серебром, дорогими коврами на полу и на стенах, ценнейшими гобеленами и другими предметами самой блестящей роскоши.

Девятый полк, которым командует Самфаров, расположившись в имении, занял дворец под квартиры офицеров; после пребывания их во дворце от всей этой роскоши остались, что называется, «рожки да ножки». Все ценности, начиная с серебра и посуды и кончая носильным платьем, были погружены на подводы и в сопровождении денщиков отправлены... как бы вы думали, куда? — в Тулу, на офицерские квартиры! Целый обоз в походном порядке отправился из Галиции в Тулу — примерно за полторы тысячи верст.

Рассказывая об этом, Блюм, между прочим, описал довольно любопытный эпизод.

Как-то вечером, он, вместе с начальником связи капитаном Розеневичем, гулял в дворцовом парке. Было темно, и они заметили среди ярко освещенных окон огромного дома два или три окна, в которых свет не горел. Розеневич, решив, что во дворце остались еще никем не замеченные комнаты, немедленно отправился «на разведку» — и действительно нашел в домово́й церкви потайной ход, замаскированный большой иконой.

Ход вел в потайную молельную комнату, все стены которой были увешаны образами. На одном из них оказалась золотая риза, украшенная крупными алмазами. Розеневич и вошедший с ним вместе начальник пулеметной команды князь Дулов бросились к иконе, чтобы содрать ризу. Каждый из них старался первым завладеть камнями и золотом и между офицерами, тут же, в молельне, произошла дикая драка. Дулов более молодой и сильный овладел ризой и убежал к себе. Розеневич всю ночь искал его, грозя убить — и кончилось тем, что делом занялся командир батальона, который решил вопрос в пользу Дулова, из уважения к его родственным связям с Самфаровым.

* * *

Недавно ко мне заходил приезжавший из канцелярии полка Воропаев.

Он передал мне все штабные новости, рассказал, что отступление, очевидно, окончено и что командование думает задержаться в этом районе надолго — если только не будет осложнений в других местах. В заключение Воропаев рассказал об еще одном неправильном приговоре военно-полевого суда.

Дело происходило следующим образом.

Для переноски проволочных заграждений первый батальон выделил в помощь саперам одну из своих рот. Ночью, во время работ, обнаружили, что от роты отстал солдат, еврей по национальности,

Гольман. Отсутствие его было истолковано, как намерение перебежать к противнику. Когда рота, закончив работы и возвращаясь обратно, натолкнулась на Гольмана, бродившего по полю недалеко от позиции, его немедленно арестовали. Гольман уверял, что он просто заблудился и все время разыскивал роту, но его объяснениям не поверили. Назначили суд (опять под председательством Хохлова) как полагается скорый, безо всякого разбора дела. То обстоятельство, что Гольман был евреем, казалось судьям главной уликой (если ты еврей, не русский — значит тебе ничего не стоит изменить) и его расстреляли.

* * *

За те несколько дней, что мы провели в дивизионном резерве, я вдоволь насмотрелся на жизнь казаков и казачьих офицеров.

Казаки, очевидно, считали себя совсем не обязанными платить за фураж, забираемый у населения. Группами по несколько человек они ходили по стадам, отнимая у хозяев овес и сено. Все протесты и жалобы крестьян были напрасны.

— Чего же платить, все равно через несколько дней придется уходить, и на наши русские деньги вы здесь ничего не купите, — цинично говорили крестьянам казаки.

Под вечер казаки рассыпались по хатам в поисках молодых, красивых галичанок, и те настолько, по-

видимому, привыкли к насилиям, что даже не жаловались.

Командир казачьей сотни, хорунжий Савченко, путешествовал не один, а в сопровождении молоденькой польки, замечательной красавицы, вывезенной им из-под Львова. Мне передавали, что полька — дочь ксендза, и что Савченко, пользуясь ночным отступлением, увез ее силой; на следующее утро село ее было занято австрийцами и девушке пришлось примириться со своей участью, ибо она уже не имела возможности перебраться через линию фронта к своим родным.

Офицеры нашего батальона во главе с Ивановым и Савицким (последний почти забыл, что он командует двенадцатой ротой) живут в фольварке в помещичьем доме. Пользуются они отдыхом «во всю». Днем спят, ночь — неизвестно откуда добывая водку — проводят в кутежах, а к рассвету дело кончается тем, что офицеры по примеру казаков разбредаются по хатам в поисках женщин.

ГЛАВА XV

РАНЕНИЕ

29 июня

Вечером 16 июня наш батальон перебросили из резерва на передовые позиции, с приказом занять окопы на время перегруппировки частей четырнадцатой дивизии.

Исполняя это распоряжение, временно командовавший батальоном капитан Савицкий (Иванов при первом известии, что надо идти на позицию, «заболел расстройством желудка») вывел батальон на линию фронта. Он был уверен, что перегруппировку частей закончат в течение ночи, что не позднее как утром мы вернемся обратно — и не распорядился взять с собою ни пулеметов, ни патронных двуколок. Мы отправились в окопы с тем оружием, которое имели на руках, и с тем запасом патронов, какой был в наших патронных сумках.

Занятый нами участок почти вовсе не был укреплен. Наши предшественники, очевидно, недавно сюда прибывшие, не успели выкопать окопы даже для стрельбы с колена. Мы застали только отдельные ямки, не соединенные между собой, и первым делом принялись углублять их.

Через некоторое время забрезжил рассвет. Ясное небо предвещало прекрасную погоду, но пока что глубокая лощина, расположенная влево от нас, была скрыта в густом тумане.

Когда взошло солнце и туман стал рассеиваться, нам показалось, что в лощине скрываются какие-то конные части. Четвертый взвод, бывший на левом фланге, решил, что в лощине сосредоточена кавалерия противника и сделал по ней несколько залпов. Кавалерия шарахнулась в разные стороны, но осталась на месте. Увидев это, солдаты смутились и, полагая, что стреляли по своим, немедленно прекратили огонь.

Наконец туман рассеялся. И что же?.. Вместо воображаемой кавалерии мы увидели — самое обыкновенное стадо коров! Было смешно и досадно, что стреляли по коровам, но инцидент этот привел в хорошее настроение всю роту, весело хохотавшую над взводным унтер-офицером Лучевым, который так энергично старался расстрелять «неприятеля».

Вскоре после этого комичного и нелепого случая, прапорщик Ханчев, расположившийся в единственной более или менее приличной землянке, приказал выслать четвертый взвод вперед, в качестве стороже-

вой заставы. Лучев, очень довольный, что избавляется таким образом от насмешек, вывел своих солдат из окопов. Им пришлось идти полем и совсем уже созревшая, высокая пшеница скрыла их почти с головой.

После того, как туман окончательно растаял, мы увидели неподалеку от злополучной лощинки окопы десятого Ингерманландского полка. Не зная в точности расположения частей, мы сначала не придали никакого значения тому, что перед окопами толпятся и передвигаются какие-то люди. Только пристально взглядевшись в бинокль, мы разобрали, что в толпе мешаются между собой и русские и австрийцы, и поняли, что противник, захватив окопы, выводит из них пленных.

В это время из небольшого лесочка, расположенного по соседству, показалась цепь русских солдат. Австрийцы бросили пленных, заторопились назад—но было уже поздно, и многим из них пришлось в свою очередь сдаваться.

Этим, однако, дело не кончилось.

Вскоре со стороны австрийских позиций двинулись в наступление новые, густые цепи. Несмотря на огонь, открытый частями десятого полка, им опять удалось овладеть русскими окопами. Но едва только успели они вытащить оттуда захваченных солдат, как из лесу снова показалось подкрепление. Точно так же, как давеча, австрийцы побежали и опять многие из них попали в плен.

Это повторялось несколько раз и мы с любопытством следили за всеми подробностями чередовавшихся отступлений и наступлений. Напротив нас все было спокойно.

Но вот наступила и наша очередь.

Часов в шесть утра, когда мы расположились пить чай, неожиданно появился Лучев, посланный со своим взводом в заставу. Бледный, перепуганный он кричал прерывающимся голосом:

— Австрийцы! Австрийцы!

Кружки, котелки, сахар — все полетело к чорту. Мы схватились за винтовки и стали готовиться к бою.

Густая, высокая пшеница, подступавшая почти к самым окопам, скрывала движение противника, мы долгое время не могли стрелять. Зато, когда австрийцы приблизились на расстояние каких-нибудь пятидесяти шагов, мы открыли по ним такой бешеный огонь, что они растерялись и залегли, не успев сделать ни одного выстрела. Мы воспользовались этим моментом, бросили в наступление, вернее в контр-атаку, один из взводов и через несколько минут в наших окопах было уже не менее ста человек пленных.

Первым делом мы отобрали у австрийцев винтовки и патроны. Это было как нельзя более кстати, так как запас патронов, захваченный с собой, иссякал и пользоваться своими винтовками мы уже не могли.

Обезоруживая пленных, взводный унтер-офицер Поляков обратил внимание, что у некоторых из них имеются большие фляги, «в которых, — как он выра-

зился, — вряд ли воду носят». И действительно, осмотревши содержимое фляг, Поляков увидел, что в них не вода, а ром. Фляги у австрийцев немедленно отобрали и притащили ко мне. Как «великодушный полководец», я щедро награждал ромом подходивших ко мне по очереди солдат. Не забыл я и прапорщика Ханчева, отправив ему в землянку полную флягу емкостью бутылки в полторы.

Выпивка привела солдат в геройское настроение.

— Хоть бы австрийцы в наступление пошли, что-ли, — поговаривали они.

Это желание осуществилось очень скоро — не успел я даже раздать все запасы рома, как перед нашими окопами появилась новая австрийская цепь. Поляков, татарин Габидуллин и многие другие бросились на нее, даже не ожидая команды, при чем я, наблюдая за ними, заметил, что они особенное внимание обращают на тех неприятельских солдат, у которых висят через плечо уже хорошо знакомые нам фляжки...

Отнятые у пленных фляги, как и предыдущие, были принесены ко мне. Снова оделял я солдат полными чарками и снова одну из фляг отправил в землянку Ханчеву. Но тут произошел случай, настолько подействовавший на меня, что он по сие время стоит у меня перед глазами.

Командир первого отделения, младший унтер-офицер Зотов, единственный, кроме меня, сохранившийся в рядах роты из числа тех, кто выехал вместе с полком из Тулы, подошел ко мне и спросил:

— А мне, Дмитрий, нальешь?

— Конечно, Зотыч! Ведь нас только двое стариков осталось во всей роте.

Я налил полную кружку и подал ее Зотову — но протянутая за кружкой рука вдруг болтнулась беспомощно в сторону, а сам он повалился на землю. Вражеская пуля прострелила ему голову.

* * *

Наступление австрийцев отвлекло наше внимание от того, что делалось влево от нас, в районе десятого полка.

Между тем положение там резко переменялось. После нескольких комических вылазок, австрийцы решили видимо приняться за дело всерьез — ввели в бой крупные силы и энергичным натиском захватили русские позиции. Овладев окопами и не задерживаясь в них, они сразу двинулись дальше, по направлению к перелеску, в котором скрывался полковой резерв, в свое время несколько раз выручавший первую линию укреплений. Перелесок был взят почти без боя. После этого австрийцы зашли так глубоко, что могли уже обстреливать нас с тыла. Одновременно с этим показались цепи противника и спереди и со стороны лощины, в которой утром паслось стадо. Бой начинал разыгрываться жарко. Мы того и гляди могли оказаться охваченными с трех сторон.

Несмотря на явные преимущества австрийцев, настроение людей нашей роты, приподнятое выпитым ромом, оставалось бодрым и воинственным. Солдаты, особенно Поляков и Габидуллин, все время порывались вперед (очевидно их по-прежнему прельщали фляжки австрийских солдат); они несколько раз переходили в контр-атаку и настолько действовали этим на противника, что к полудню всякое наступление австрийцев прекратилось. Они залегли в нескольких стах шагах перед нашими окопами и принялись, в свою очередь, окапываться, лишь изредка посылая в нашу сторону ружейные пули.

Наступившая передышка позволила нам докончить добытый в боях ром. Однако после недавнего возбуждения это вызвало на сей раз некоторую апатию. Клонило ко сну. Хотелось спокойно вытянуться и не слышать больше над головою жужжание пуль.

Стараясь побороть дремоту, я решил отправиться к Ханчеву, полагая, что из двух фляг, посланных ему, у него наверняка остался еще изрядный запасец рома. Вместо того, чтобы идти вдоль окопа, мне пришлось в голову пуститься более коротким путем, прямо по открытому полю.

Не успел я пройти и десяти шагов, как почувствовал вдруг, что меня кто-то с огромной силой ударил по колену, точно дубинкой. С удивлением оглянулся я кругом, но никого не было видно. Только тут пронеслось в сознании, что меня ударили не палкой, а пулей.

Правая нога подкашивалась, на нее больно было ступать. Я попробовал шагнуть вперед, но вместо этого повалился в окоп.

Солдаты тотчас же вызвали санитаров.

Увидев на правой штанине дырку, он разрезал перочинным ножом шаровары и обнаружил, что у меня прострелено на вылет колено. Острой боли я еще не чувствовал, но во всей ноге ощущалось уже какое-то оцепенение, как от сильного ушиба. Санитар наложил повязку. От усталости и, вероятно, от выпитого рома я задремал.

Очнувшись через некоторое время и вспомнив о своем ранении, я попросил солдат довести меня до землянки ротного командира. Сам я идти уже не мог. Меня взяли под руки и почти волоком, под пулями, повели к Ханчеву.

У него в землянке я пролежал несколько часов. Нога начала болезненно ныть. То, что сначала казалось легким и почти незаметным, теперь настолько мешало, что я не мог забыться ни на минуту.

Когда перестрелка на поле боя несколько поутихла, Ханчев приказал санитарам отнести меня на перевязочный пункт. Им предстояло пройти не менее двух верст по чистому полю под обстрелом противника.

Ощущение полной беспомощности, когда лежишь на носилках, никуда не можешь укрыться и в то же время со всех сторон слышишь визг и свист пуль — невыносимо. Пока санитары несли меня полем одна и та же мысль мучительно сверлила мозг — мне казалось, что

вот вот пуля попадет в голову и добьет меня окончательно.

Я несколько раз требовал от санитаров, чтобы они клали меня на землю и прятались сами в густых посевах овса или ржи... Однако, несмотря на весь мой ужас и страх, какого я не испытывал еще ни разу в жизни, ничего особенного не произошло и санитары благополучно доставили меня в перевязочный отряд штаба дивизии.

ГЛАВА XVI

В ГОСПИТАЛЕ

Июль. Москва

Лежу в лазарете, в Москве.

Год, проведенный на фронте, представляется мне сейчас каким-то кошмаром. Каждую ночь снятся сны, которых на фронте я совсем не знал — и нет ни одного сна без того, чтобы мне не мерещились картины боя. Слышу артиллерийские раскаты, трескотню пулеметов, свист пуль; вижу, как надвигаются на меня густые цепи — и все это превращается во что-то чудовищное...

Перелистывая, пересматривая свои записки, сделанные на фронте, я убеждаюсь каким бледным, схематичным выглядит все, описанное мною. Жаль, что многие моменты я не описал так, как они переживались. Ведь если бы записать полностью все свои настроения, все страшные картины этой безумной войны народов,

этого жесточайшего и бессмысленного истребления людей, то получилась бы огромная книга страданий и издевательства человека над человеком. Однако вспоминая с другой стороны условия, в которых приходилось вести свои записи, я вижу, что тогда в тех условиях записывать больше не было никакой возможности. То, что удавалось запечатлеть — писалось на коротких дневках или остановках для отдыха, писалось в небольших потрепанных часто промокших в воде блокнотах или маленьких тетрадках. Всегда приходилось торопиться, записывать на ходу и только потом, когда выпадали свободные часы, я по обрывкам и отдельным заметкам припоминал подробности... Да и какие там подробности! Ведь всякий бой, в котором мне приходилось участвовать — целая драма, и о нем можно написать, по сути дела, огромный том.

Психология солдат и офицеров, которым смерть ежеминутно, ежечасно смотрит прямо в глаза, находится всегда под впечатлением непосредственной боевой обстановки. Все картины сражений, даже самых геройских, только в том случае могут быть правильно и полностью переданы, если человек смотрел на сражение со стороны, откуда-то с высоты, не переживая личной опасности и общего массового боевого или вернее военного психоза. Только глядя на события со стороны, можно объективно оценить эти события.

Не помню сейчас у какого писателя есть рассказ про некоего образованного человека, к которому приехал старик-отец. Сын повел отца на высокую гору и,

когда запыхавшийся от усталости старик взобрался на вершину, сказал ему:

— Смотри, отец, как красиво расстилается внизу местность.

Старик с сердцем ответил на это:

— Ну и что-же? Ведь красиво-то внизу. Зачем же ты тащил меня, человека больного отдышкой, на гору?

Старик не понимал самого главного — что красивая местность хоть и расположена внизу, но красоту ее можно увидеть во всем величии только сверху. Так и война. Все трагическое, захватывающее, страшное и отвратительное может быть показано только тем, кто сумел подняться над мелочами обыденности и единым взором охватить это величайшее несчастье человечества.

Вот сейчас, когда я нахожусь в лазарете и издали припоминаю все, что переживал еще недавно, мне ясно, как много важного и нужного пропустил я в своих записках. Взять хотя бы отношение населения к русскому войску, отношение русского войска к населению, отношение солдат различных армий друг к другу. Все это почти не отражено мною, а если и отражено, то отрывками, кое-как. А сколько здесь самых разнообразных оттенков!.. Вот, скажем, солдат нашей двенадцатой роты, какойнибудь епифанский мужик, совершенно не представляющий себе ради чего собственно он страдает, ради чего убивает неприятельского солдата, такого же мужика, происходящего из галицийской деревни. С какой яростью

старается он убить его во время боя! А встречаясь с пленным австрийцем, этот же мужик начинает видеть в нем не врага, а такого же, как он, человека, такого же крестьянина или рабочего...

Будучи на фронте, я попросту не замечал всего этого и чаще всего в своих записках фотографировал то, что непосредственно проходило перед моими глазами.

Когда война закончится и люди разойдутся по своим местам, каждый к своему делу, занятию, труду, брошенному на время войны, — вот тогда появятся писатели, которые из отдельных разрозненных рассказов, записок и фотографий создадут широкую картину и покажут человечеству весь ужас и трагедию того, что происходит сейчас.

Я никогда не пытался и думать о подобной задаче. Я простой рядовой солдат и не знаю, не вижу велений, которыми двигаются огромные полчища армий.

* * *

Сейчас я нахожусь в лазарете. Пользуюсь не только лечением раны, которая быстро заживает, не только отдыхом физическим — но и отдыхом моральным. Последнее, впрочем, пока что дается с трудом. Каждую ночь меня душат кошмары — как только я засыпаю, они перебрасывают меня на поля сражений. Врач говорит, что это пройдет, что у раненых,

долгое время пробывших на фронте, он постоянно наблюдает то же самое. Мне хочется верить этому. Я измучился. Сны настолько тяжелы, что заставляют просыпаться с холодным потом на лбу по несколько раз в ночь.

* * *

Мои записки оборвались на полуслове и я хочу прежде всего заполнить пробелы, тем более, что по пути в Москву было много интересного.

Как я уже писал, санитары благополучно доставили меня на перевязочный пункт.

Бои шли по всему участку. Раненых на перевязочный пункт несли со всех сторон, ими было заполнено несколько сараев. Повсюду слышались стоны; бледные, страдающие лица с воспаленными глазами выглядывали со всех сторон. Среди раненых тихо сновали санитары, разносили кружки с чаем.

Когда дежурный врач осмотрел мою ногу, он сказал, что перевязки делать не надо— достаточно сохранить повязку, сделанную на позиции ротным санитаром. Указав куда меня отнести, он перешел к другим искалеченным солдатам.

Меня уложили в углу сарая, где уже находилось десятка два раненых и куда вслед за мною продолжали приносить все новых и новых. Санитар протянул мне кружку чая и большой ломоть хлеба, намазанный маслом. Я съел хлеб, несмотря на то, что

за полчаса до прибытия на перевязочный пункт достаточно плотно поел у своего ротного каптенармуса. Такая привычка у всех солдат. Мы едим где только можно, всегда, во всякое время, т.-к. никто из нас не знает, когда придется есть в следующий раз.

На рассвете меня вместе с целой партией раненых погрузили в санитарный автомобиль и отправили на станцию Буск для дальнейшего следования в один из тыловых госпиталей.

Поезд, в который нас посадили или вернее внесли на руках, принадлежал обще-дворянской организации (общественная организация сформировавшая за счет дворянских капиталов по несколько санитарных поездов для каждого фронта). Почти весь поезд состоял из вагонов четвертого класса и ничем не отличался от того, что именуется «Максимом Горьким». В вагоне размещали столько людей, сколько имелось коек в обоих ярусах. На верх клали менее тяжело раненых, а на нижние полки — так называемых костыльных, не могущих передвигаться без посторонней помощи. В качестве постели полагались легкие, почти ничем не набитые матрасики и небольшие соломенные подушки. Никаких других постельных принадлежностей в вагонах не было.

Посадка закончилась часов в десять утра, но поезд после этого еще долго стоял на станции. Наконец тронулись. Вагоны раскачивало на ходу. Тряска и постоянные толчки причиняли раненым большие страдания и в вагоне не утихали стоны, жалобы и

ругательства. К вечеру пришел солдат-санитар с котелками пищи и поставил их перед нами. Я не мог ни к чему притронуться — начавшийся жар лишил меня всякого аппетита. Зато я, также как и другие, с нетерпением ожидал, что мне окажут лечебную помощь. Мы думали, что врачи осмотрят наши раны и сделают перевязки, но наши надежды были напрасны — в течение всего дня никто из врачебной администрации не заглянул в наш вагон. То же повторилось и на следующий день. Кроме кухонного служителя, приносившего в обед котелки с пищей, а по утрам кружки жидкого чая с ломтем хлеба, даже не намазанного маслом — мы никого не видели. Только на третьи сутки показались две сестры в сопровождении молодого хлыщеватого врача со шпорами (к чему у врача шпоры — не знаю). Они проходя по вагону небрежно оглядели наши физиономии и через несколько мгновений скрылись.

В этот же день поезд остановился на какой-то большой станции. Во время стоянки врачи очевидно решились осмотреть раненых и вот по всем вагонам пробежал санитар, кричавший:

— Больные, выходи в перевязочный вагон на осмотр.

В нашем вагоне не было никого, кто бы мог двигаться самостоятельно, но у меня нога оставалась не перевязанной уже четыре дня, и я, опасаясь возможности заражения крови, попробовал все же подняться и перейти в вагон, где помещалась так назы-

ваемая перевязочная. С неимоверным трудом выбравшись на площадку вагона, я увидел, однако, что мы стоим среди железнодорожных путей и что спрыгнуть на землю впору лишь совершенно здоровому человеку. Пришлось, шатаясь от боли и стискивая от злости зубы, вернуться на свою койку и ожидать дальнейшей участи.

Между прочим, когда я стоял на площадке, перед вагонами гуляло несколько врачей и сестер милосердия из нашего поезда. Неужели эти баре не могли хоть один раз за все дни пути непосредственно в вагонах устроить перевязку!

То невнимание, похожее на издевательство, с которым относился к нам лечебный персонал, вызвало у раненых необычайную злобу к врачам и к сестрам милосердия. Мы открыто выражали свое недовольство, но никто не слышал нас, т.-к. кроме самих раненых никого в вагоне не было.

* * *

На шестой день поезд прибыл в Киев. Все это время на моей ноге продолжала лежать повязка, сделанная из индивидуального бинта ротного санитаря.

Поезд остановился на киевском вокзале неподалеку от огромного здания распределительного пункта. На платформе раненых встречали санитары. У одного из них в руках была большая связка костылей.

— Выходи! — неслись крики с платформы.

Я попытался подняться, но вынужден был снова опуститься на койку — жестокая боль в колене не позволяла сделать ни одного движения.

Постепенно большинство раненых выбралось на платформу и в конце концов нас, совершенно не могущих тронуться с места, осталось человека четыре. В вагон вошло несколько санитаров. Они роздали нам костыли, объяснили как ими пользоваться, а для начала подняли нас на руках.

Сделав с помощью санитара несколько шагов по платформе, я попробовал опереться на костыли и к своему удовольствию убедился что могу, пользуясь костылями, передвигаться самостоятельно без посторонней помощи.

Нас провели в ожидальню, довольно большую просторную комнату уже заполненную ранеными солдатами с нашего поезда.

Прождав в каком-то углу часа два, я наконец не выдержал и вместе с соседом по вагону, солдатом десятого полка, раненым тоже под Неслуховым в один день со мной, решил перебраться к комнате принимавшего врача. Это нам удалось. Мы попали в приемную. Встретившая нас пожилая женщина, кадровая сестра милосердия, усадила меня на деревянный диван и сунула подмышку градусник. Через несколько минут она снова подошла ко мне, и, взглянув на градусник, сказала:

— Температура у вас тридцать семь.

Я не понял и переспросил:

— Как ~~тридцать~~ и семь? Такой температуры не бывает.

— Да что вы говорите не бывает. Повторяю, тридцать семь.

— Да как же так, тридцать и семь, — продолжал упорствовать я, — этого не может быть.

— Да не тридцать и семь, — рассмеялась сестра, — а тридцать семь.

Я понял, что ошибся, покраснел и смущенно устроился в уголке дивана. Ждать очереди мне пришлось еще довольно долго. Наконец меня вызвали к доктору. Развязав повязку, он осмотрел мою рану и, качая головой, произнес, обращаясь к другому, бывшему с ним молодому врачу:

— А ведь серьезно хватило! Ножку-то пожалуй придется ампутировать.

Эти слова бросили меня в жар и холод.

— Ампутировать? — спросил я, — а разве так не пройдет?

— Не знаю, не знаю. Дай бог!.. Вы откуда? Куда хотите ехать лечиться?

Сначала я хотел было назвать свой город Тулу, чтобы быть ближе к родным — но, вспомнив насколько осточертела мне эта Тула в мирное время, остановился на Москве, увидеть которую мне всегда страстно хотелось.

— Я из Москвы и хотел бы лечиться там.

— Ну хорошо, поедете в Москву. Теперь ступайте на сборный пункт.

— Где это?

— А вот выйдете отсюда, пройдете платформу и в самом конце увидите большой деревянный барак. Там переночуете, а завтра вас отправят дальше.

Снова вооружившись костылями, я вышел на платформу и здесь столкнулся с каким-то генералом. Увидев меня, он закричал:

— Ты куда прешь, разве не видишь, что здесь ходить нельзя?

— Я иду на сборный пункт, ваше превосходительство, я раненый.

— Много вас тут всякой сволочи шляется, марш отсюда!

Я остановился в изумлении.

— Марш отсюда, говорят тебе, вон где надо ходить.

Он показал рукой на двери какого-то здания. Я повернулся и пошел. Было обидно. Человек без ноги, имеющий уже три георгиевских креста, представленный к кресту первой степени, и за боевые отличия представленный в прапорщики, еле держится от слабости, а тыловой «герой» кричит на него благим матом.

Однако, нужно было торопиться. Становилось холодно и мне хотелось поскорее добраться до сборного пункта, где можно было бы отдохнуть после пятидневной тряски в вагоне.

С полчаса блуждал я в поисках сборного пункта, а когда наконец нашел его, то увидел, что пробраться

внутри нет никакой возможности — все было до отказа забито солдатами, пришедшими раньше меня, и перед воротами несколько десятков раненых лежали прямо на мостовой.

Все попытки мои войти хотя бы в ворота были тщетны. Утешая себя тем, что сборный пункт представляет собою простой сарай, в котором должно быть и темно, и грязно, и тесно, я решил расположиться на улице. Спать под открытым небом было для меня в сущности делом привычным. Недолго думая, я примостился около стены, поежился малость от холода и от желания что-либо поест и задремал. Продремал я, впрочем, недолго. Ночь была холодная и, проснувшись через несколько минут в ознобе, я понял, что заснуть не удастся. Чтобы согреться надо было бы встать, попрыгать, как это делали мы на позиции, но теперь я был лишен и этой возможности — не очень-то попрыгаешь с простреленной ногой!.. Приходилось терпеть.

С восходом солнца барак зашевелился. Те, кто переночевал внутри сарая, выползли на мостовую, а мы поползли в барак. Вскоре появились санитарки с ведрами кипятку и баками, наполненными хлебом. Чтобы получить свою порцию, нужно было встать в очередь к столу, за которым происходила раздача. Я стоять в очереди не мог и, побродив некоторое время вокруг столика, перед которым теснилась густая толпа солдат, с понурым видом вышел за ворота.

Напротив, шагах в сорока, стоял подготовленный для посадки раненых санитарный поезд земского союза. В нем к этому времени тоже начала пробуждаться жизнь.

Лежа на мостовой и тщетно стараясь согреться под ранними солнечными лучами, я вспомнил, что у меня в кармане, в кошельке, лежит золотой георгиевский крест второй степени. «Пожалуй — подумал я, — он может пригодиться в тылу гораздо больше чем на фронте», — и вытащив крестик из кошелька, приколот его к гимнастерке.

Вскоре из санитарного поезда показалась группа врачебной администрации.

Один из врачей заметил меня, лежащего на земле с сияющим на груди крестом, и направился в мою сторону. Остальные последовали за ним. Посыпались вопросы — такие обильные, что я не мог сразу ответить на них, и лишь после того, как меня стали расспрашивать более медленно, рассказал по порядку, что прибыл с Юго-Западного фронта, ранен 17-го июля, что крест у меня второй степени и есть еще два, что ночь проспал на открытом воздухе, ничего не ел и с нетерпением жду, когда меня покормят и посадят в вагон.

Говоривший со мной оказался старшим врачом поезда. Он распорядился, чтобы санитары перенесли меня в вагон, но я отказался от их услуг, вооружился костылями (они стали вскоре моими большими друзьями) и сам заковылял к поезду.

Едва успел я войти в вагон, как меня окружили сестры, санитарки и служительницы. Перебивая друг друга они расспрашивали меня откуда я прибыл, за что получил крест, долго ли был на фронте и т. д.

Поезд, приютивший меня, был совершенно не похож на тот, в котором нас везли от Буска до Киева. Я лежал в четырехместном купэ с мягкой постелью, с хорошими пуховыми подушками, одеялами и чистыми простынями. Служительница притащила свежее белье, заставила сбросить старое и переодеться. Переодевшись я с наслаждением вытянулся на мягком диване. Передо мной, на маленьком вагонном столике поставили чашку бульона, пару котлет и целую гору ломтей белого хлеба. Вынырнувшая откуда-то молодая сестра милосердия таинственно спросила:

— А вина вам можно?

Я утвердительно кивнул головой и она, вытащив из-под фартука бутылку красного вина, налила полный стакан. Нечего и говорить, что после ночных мучений я осушил его с наслаждением.

Два дня пути от Киева до Москвы прошли как во сне. Вокруг меня все время увивался поездной женский персонал. Всех этих сестер и санитарок конечно интересовал не столько я, солдат Дмитрий Оленин, сколько мой георгиевский крестик. Ничего не стоивший на фронте, он среди тыловой публики, среди поездной администрации произвел громадное впечатление. Сестры рассказали, что их поезд впер-

вые везет раненого с георгиевским крестом, да еще второй степени и после этого мне стали понятны их ухаживания.

* * *

В Москву поезд прибыл ночью. В течение полутора часов наш состав гоняли с линии на линию, пока, наконец, не остановили около огромного здания распределительного пункта. Здесь нас должны были выгрузить и рассортировать по лазаретам Москвы.

Уже привыкнув к костылям, я свободно вышел из вагона и заковылял вместе с другими по платформе.

Прежде чем отвести в палаты, нас собрали в большом зале-приемной. Санитары оделили раненых мылом, мочалкой, чистым бельем и мы отправились в баню, находящуюся тут же при распределительном пункте. Санитар помог мне раздеться и надел на раненую ногу бандаж-чехол, чтобы предохранить рану от мыла и воды.

Мылись мы все, не видавшие бани уже в течение многих месяцев, с наслаждением. После мытья, надев чистое белье, мы в сопровождении тех же санитаров перешли в большие дортуары, уставленные кроватями. Рядом со мной очутился мой спутник по вагону, начиная от станции Буска, солдат десятого полка Баракин.

Мягкая постель, чистое белье и необычайная лег-

кость, охватившая тело после бани, вызвали во мне чувство полного покоя и я погрузился в глубокий сон.

Утром, после чая, в палату вошла группа молодых врачей. Они не стали осматривать нас и только расспрашивали раненых, записывая полученные сведения. В ответ на мое заявление, что я имею в Москве родственников, они уверили, что я буду оставлен здесь; сопровождавший их санитар прикрепил над моей кроватью дощечку с надписью «москвич».

Часов в двенадцать меня повели на перевязку.

При осмотре обнаружилось, что входное отверстие раны уже успело затянуться и вводить зонд и промывать всю рану — не нужно. Осматривавший меня врач сказал, что, если в течение ближайших дней не произойдет никаких осложнений, моя нога будет через несколько месяцев такой же здоровой, как до ранения.

Вернувшись из перевязочной, я снова вытянулся на своей койке. На столике около кровати уже лежала услужливо поданная кем-то газета. Должен сказать, что я, наученный киевским опытом, и здесь, на распределительном пункте, не снимал с груди георгиевского креста и это вызывало у всех повышенное внимание ко мне.

После обеда в зале воцарилось оживление: приехали посетители из различных частных и общественных лазаретов и госпиталей, чтобы выбрать новых раненых взамен уже излеченных,

Среди прибывших в большинстве были дамы различного возраста и вида. На мой взгляд, почти все они принадлежали к крупной буржуазии или аристократии. Многие из них имели в руках лорнеты и, задерживаясь подле какой-нибудь из коек, направляли их на раненых. Разговаривали они между собой и с сопровождавшими их молодыми людьми на каком то нерусском языке и лишь изредка вставляли русское слово или замечание.

Около меня остановились две дамы. Рассмотрев мою грудь, украшенную крестом, они только после этого сообразовали обратиться внимание и на физиономию.

Одна из них обратилась к другой, лопоча что-то на непонятном мне языке.

— Мы возьмем его, — сказала она в заключение по-русски, обращаясь к какому-то маменькиному сынку, который приятно улыбался каждому ее слову.

Посетительницы прошли дальше. Видимо им надо было выбрать не одного человека, а нескольких. Пока они шествовали по палате и разглядывали раненых, в дверях появились две скромно одетые женщины — одна постарше, другая помоложе — в сопровождении дежурного врача.

— Нам только троих, — сказала молодая.

— Так выбирайте сами. У нас уж такой порядок, все приезжающие сами выбирают больных.

— Ах, зачем же доктор? — поморщилась молодая. — Нам все равно, лишь бы были раненые, а не больные.

— Как хотите.

— Так вот дайте этих троих с края.

В числе «этих троих», лежавших ближе к выходу, был и я. Врач крикнул санитару, чтобы он помог нам собраться и вынести наши вещи, уложенные около кровати.

Дамы-патронессы все еще выбирали себе «подходящих» для украшения их лазаретов солдат, а мы тем временем успели смотать свои вещи и выбраться на улицу. Этому обстоятельству я чрезвычайно обрадовался, т.-к. вид вооруженных лорнетами дам не вызывал во мне ни малейшего удовольствия.

Усевшись в санитарный автомобиль, мы быстро помчались вперед.

Мне в первый раз в жизни пришлось проезжать по Москве и я поминутно вскрикивал от страха, — мне казалось, что автомобиль обязательно наскочит на прохожего или на извозчика или что нас вот вот раздавит догоняющий позади трамвай. Однако, несмотря на быстроту уличного движения, автомобиль мчался, прохожие и лошади, встречавшиеся по пути, как-то во время сворачивали в сторону, и мы без всяких приключений добрались до места назначения. Остановились около большого четырех - этажного красного каменного дома в Знаменском переулке.

— Однако, большой лазарет, — произнес я вслух, когда нас стали снимать с машины.

— Нет, наш лазарет не так велик, как вы думаете. Вот сейчас войдете и увидите, — успокоила находившаяся вместе с нами женщина постарше.

Мы поднялись на полувторой этаж (говорю «полувторой» потому, что этому этажу предшествовал еще полуподвальный) и вошли в большую светлую квартиру. Навстречу высыпало несколько человек раненых в одном белье.

— А, новые, милости просим!.. Откуда? — закричали они.

— Погодите, вот приведем их в порядок, тогда и узнаете. Дарья Ивановна, ванну!

Навстречу из кухни выплыла Дарья Ивановна, грузная, лет под пятьдесят, с рябым лицом, с заплывшими, добрыми глазами. На ходу она вытирала о фартук руки. Очевидно ее оторвали от кухонной работы.

— Что, привезли? — весело спросила она, обращаясь к женщине. — А ванна уже готова, — продолжала она, вводя нас в небольшую комнату, в которой стояли три кровати с маленькими столиками около каждой из них и с большим столом посередине. — Раздевайтесь. Сейчас помоемся, наденете чистое белье, а потом поместитесь в этой комнате.

Женщина, сопровождавшая нас из распределительного пункта, оказалась заведующей лазаретом.

Лазарет, рассчитанный на восемь человек, содержался церковно-приходской общиной знаменского района. Занимал он всего одну квартиру из семи

комнат. Три из них были заняты кроватями для раненых, в четвертой жила фельдшерица Нина Алексеевна Марьева, а остальные были отведены под перевязочную, общую столовую и аптеку.

— Зачем мыться? — сказал я. — Ведь мы только сегодня ночью были в бане и только сегодня надели чистое белье.

— Э, нет, — весело ответила фельдшерица. — У нас такой порядок — прежде всего пожалуйста в ванну.

Мы подчинились, хотя такое частое мытье казалось странным для нас, привыкших месяцами не разуваться и не раздеваться и носивших белье до полного истления.

Дарья Ивановна наполнила ванну почти доверху водой, посадила меня в нее и засучив рукава с большим усердием начала мыть, растирая тело жесткой губкой, пошлепывая по спине и приговаривая:

— Вот поживешь недельки три, отъешься, поправишься... А сейчас тощеват!

Присутствие Дарьи Ивановны и ее шлепанье несколько смущали, но все же настроили меня благодушно. Покончив с мытьем, Дарья Ивановна низким голосом, похожим на рычание, приказала следовать за ней, привела в комнату, в которой мы уже были, и указала на одну из кроватей. Я лег. Никогда еще не спал я в подобных условиях! Настолько был мягок матрац, настолько хороши были его пружины и свежее белье так приятно ласкало тело, что я даже зажмурился от удовольствия. Впрочем это продол-

жалось всего несколько минут, ибо я почти тотчас же заснул не дождавшись даже обеда, который должен был по расписанию съесть прежде чем лечь спать.

Когда я проснулся было еще светло, но чувствовалось, что уже приближаются сумерки. Я спросил соседа по койке Варакина, который час.

— Да уже скоро шесть, — ответил Варакин.

— Что же, я часа полтора проспал?

— Какое там полтора!.. Со вчерашнего дня не просыпаешься.

Оказалось, что я без всяких сновидений проспал больше суток. Меня пробовали разбудить к обеду, но я только мычал в ответ. То же самое повторилось вечером перед ужином и сегодня утром. Наконец решили оставить меня в покое. Фельдшерица распорядилась не тревожить меня до тех пор, пока я не проснусь сам.

Я проспал двадцать шесть часов без перерыва!

* * *

С моей раной не случилось никаких осложнений. Военный врач, навещавший наш лазарет два раза в неделю, осмотрев ее, приказал делать мне ножные ванны, так как вся нога выше колена от сильного ушиба стала совершенно синей. На колено он велел класть согревающие компрессы и, чтобы не вызвать каких-либо осложнений, советовал на первое время как можно меньше двигаться.

— При соблюдении этих правил все скоро пройдет, — уверял он.

Так оно и случилось. Рана, затянувшаяся, благодаря плотно наложенному санитаром бинту, еще по пути в Москву, не была засорена и это спасло ее от всяких воспалений. Все же прострел был настолько серьезен, что для лечения требовалось несколько месяцев.

— Твое счастье, — говорил доктор, — что пуля просверлила колено, а не разбила. Если бы была хоть малейшая трещина, нога оказалась бы искалеченной навсегда.

Жизнь в нашем лазарете была построена по семейному. Мы все быстро познакомились друг с другом, часто вспоминали подробности различных боевых эпизодов, не задумываясь ни над характером войны, ни над тем, что предстоит нам в будущем. По мере того, как мы поправлялись, фельдшерица часто устраивала экскурсии. Мы познакомились с Третьяковской галереей, Историческим музеем и Сокольническим парком, катались на моторной лодке по Москве-реке, осматривали Симонов монастырь, ездили на Воробьевы горы... Фельдшерица и жившая с ней приятельница ее, Гликерия Петровна, приносили из библиотек много всяких книг... Жизнь текла ровно, спокойно. Кошмары, мучившие меня первые дни, повторялись все реже и реже. К концу месяца после пребывания в лазарете мозг совершенно успокоился, и если мне и снился фронт с теми ужасами, которые

приходилось переживать, то это было уже не так страшно и я не просыпался по ночам с холодным потом на лбу.

Получив возможность свободно выходить из лазарета, я предпринял планомерные объезды Москвы, чтобы как следует ознакомиться с нею. Делать это было не трудно, так как раненые солдаты, да еще костыльные, имели право бесплатного проезда во всех трамваях и входа в трамвай с передней площадки. За какой-нибудь месяц я успел изъездить всю Москву, внимательно присматриваясь к улицам, площадям и зданиям. Узнать Москву из вагона трамвая было все же не легко, и если я несколько и ознакомился с городом, то уже после того, как попал в команду выздоравливающих.

Когда первые четыре недели, назначенные для меня доктором, подошли к концу, я вместе с несколькими другими солдатами, раньше нас прибывшими в лазарет, был назначен к выписке. Однако в тот день, когда я должен был уйти из лазарета, обнаружилось, что у меня нет одного сапога, брошенного на поле сражения, и что бывшие на мне в момент ранения шаровары разрезаны ротным санитаром при перевязке. Меня решили оставить в лазарете пока не получат для меня обмундирование и обувь—а так как выписка раненых производилась два раза в месяц я задержался в лазарете еще на две недели. Но этим дело не кончилось — опять произошел «пре-неприятный казус». Обнаружилось, что мне прислали

сапог на ту же ногу, на какую у меня сапог уже имелся.

Таким образом из-за недоразумения с обувью и шароварами я пролежал в лазарете лишний месяц и это дало возможность действительно хорошо отдохнуть и поправиться.

ГЛАВА XVII

В КОМАНДЕ ВЫЗДРАВЛИВАЮЩИХ

Наконец мне все же пришлось выписаться. В сопровождении еще двух раненых, я направился вместе с заведующей лазаретом в управление уездного воинского начальника, чтобы получить назначение в команду выздоравливающих в Москве, или в другом губернском городе.

Сборный пункт для раненых помещался на Симоновской улице.

Мы застали там огромную толпу прибывших из других лазаретов солдат, достигавшую, по крайней мере, тысячи человек. Здание сборного пункта, конечно, не могло вместить такое множество людей. Большинство солдат расположилось просто на дворе.

Как только мы вошли во двор и за нами захлопнулась калитка, мы вновь почувствовали себя в положении военнообязанных: выход на улицу в одиночку уже не разрешался и со двора можно было

выйти только целой командой, предъявив дневальному соответствующий пропуск.

Свободная жизнь, которой я пользовался на протяжении двух месяцев в лазарете, окончилась. Я снова попал в условия военной службы, а здесь наряду с дисциплиной царила и бестолковщина, свойственная тыловым учреждениям во время мировой войны. На стояние в очереди пришлось потратить несколько часов. Во дворе ругали на чем свет стоит несколько ни в чем неповинных писарей, которые просматривали лазаретные документы и отмечали кого куда отправлять.

До меня очередь дошла только к вечеру.

Я решил попросить писаря, чтобы меня отправили в Тулу, — настолько не понравилась обстановка этого распределительного пункта. Мне казалось, что если я попаду в команду выздоравливающих в Тулу, где большинство администрации состоит из бывших раненых нашего же одиннадцатого полка, то там для меня будет гораздо лучше, чем в Москве.

Писарь свирепо посмотрел на меня одервеневшими от усталости глазами. Видно было, что он ровно ничего не понимал из моего заявления о желании поехать в Тулу. Стараясь усвоить то, что я говорю, он машинально вывел «5-я команда выздоравливающих — Москва».

— В Тулу? — переспросил он наконец. — Что же я из-за тебя бланк буду переписывать?.. В пятую команду выздоравливающих!

Делать было нечего. Я снова вышел, но уже другим выходом, во двор, где группировались команды, получившие то или иное назначение. Какой-то подпрапорщик с костью в руке кричал:

— Кто в пятую команду, ко мне!

Я присоединился к группе солдат уже окружавших подпрапорщика.

— Что же мы пешком пойдем что ли? — спросил кто-то. — Мы пешком не пойдем, давай трамвай.

— Где же я возьму трамвай, что я городская управа тебе, что-ли? — огрызнулся подпрапорщик. — Вот выйдем на улицу... Будет трамвай — сядем, а не будет — пойдем пешком.

— Ну ты иди сам пешком, а мы довольно походили на фронте. Я иначе, как на трамвае, не поеду, — продолжал бурчать весь заросший бородой пожилой солдат.

На трамвай сесть не удалось и до места назначения пришлось добираться пешком.

Команда выздоравливающих помещалась в конце Большой Серпуховской улицы в громадном здании так называемой Ляпинки, которая в мирное время служила приютом для престарелых беспризорных женщин. Когда мы добрались до Ляпинки, окруженной высокими заборами и занимавшей целый квартал, нам первым делом бросилось в глаза, что у каждого выхода, у каждой калитки или ворот стоят дневальные.

Войдя во двор, наш подпрапорщик отправился к дежурному по команде, чтобы получить указания, где нас разместить. Вскоре подошел дежурный прапорщик. Он объяснил, что мы должны занять вновь отремонтированный корпус, который впервые будет заселяться больными и ранеными и для которого сейчас формируется ротная администрация. От него же мы узнали, что это будет по счету четвертая рота команды.

Нужно сказать, что рота в команде выздоравливающих совершенно не похожа на строевую. Строевая рота военного времени имеет самое большое двести пятьдесят человек, в команде же выздоравливающих штатное число роты достигает тысячи человек; в каждом взводе не менее двухсот солдат.

Отправились к указанному нам корпусу.

Нары в нем были расположены в три яруса с расстоянием между ними не больше, как в полтора аршина, и мы сразу увидели, что стоять на нарах нельзя. Можно разве только привстать и то, рискуя разбить затылок о верхний ярус.

Окна были на подобие тюремных, с решетками, как будто нарочно для того, чтобы предупредить возможность выхода через них. Форточек не было вовсе. Воздух — спертый, несмотря на то, что солдаты размещаются здесь впервые. Нары голые — никаких признаков постельных принадлежностей нет.

Вошедший вместе с нами в это помещение дежурный прапорщик сказал, что скоро придет каптенар-

мус, который выдаст нам тюфячные мешки, и что мы сами должны отправиться за соломой для них. Каптенармус действительно не заставил себя ждать. Он забрал всех нас и мы, ковыляя на костылях (большинство из нас были костыльники) двинулись в дальний угол двора, где были свалены большие вороха соломы.

Путешествие в команду выздоравливающих, хождение за соломой, набивка матрацев, возвращение обратно, распределение мест на нарах, — все это очень живо напомнило мне осень 1913 года, когда я впервые прибыл новобранцем на военную службу в Тулу. Если и была какая-нибудь разница, то разве только в том, что все было организовано здесь еще хуже, чем тогда.

Во время набивки матрацев мы узнали, от сопровождавшего нас каптенармуса, что пятая команда выздоравливающих впервые получает «настоящих» больных и раненых. До сих пор команда состояла исключительно из больных венерическими болезнями.

Так как наш корпус почти не был изолирован от остальных рот, нам угрожала опасность заразиться сифилисом или гонорреей. Мы решили держаться осторожнее и всячески избегать встреч с остальными, хотя при общем дворе и кухне мы не чувствовали себя уверенными, что это предохранит нас от заразы.

Только сейчас понял я насколько мне повезло и как хорошо сложились для меня обстоятельства, что я смог провести в лазарете лишний месяц.

Жить в команде выздоравливающих—не лучше, чем быть на фронте. Там постоянно находишься на свежем воздухе и чувствуешь себя довольно свободным, т.-к. офицерский состав в военной обстановке не слишком притесняет солдат. Здесь же пытались создать подобие казарменной дисциплины, и низшая администрация, стараясь выслужиться, заслужить похвалу начальства и таким путем спастись от отправки на фронт—особенно подхалимствовала, почти издевалась над больными и ранеными.

* * *

Формирование нашей роты продолжалось в течение целой недели. Первый день обязанности ротного командира выполнял командир второй роты, прапорщик Мухин, а затем его сменил прапорщик Лузин.

Лузина, как прапорщика запаса, призвали на военную службу по мобилизации. Его отец имел на Балчуге крупную торговлю железными и скобяными товарами, а дядя состоял товарищем московского городского головы. Этим очевидно и объяснялось, что Лузин получил назначение не в строевую часть, а в спокойное и теплое место, в команду выздоравливающих.

Блондин, высокого роста, лет тридцати пяти, он мало походил на военного — даже форма сидела на нем мешковато — но при своей крепкой, кулацкой складке умел держать в руках роту. В нем были еще

заметны следы «штатского» человека и при разговоре с солдатами он не всегда выдерживал офицерский тон—вместо обращения «на—ты» частенько сбивался по торговому «на—вы». Отношение к нему со стороны раненых солдат было безразличное и даже несколько благожелательное. Он был вежлив, доступен и, если мы обращались к нему с какими-нибудь просьбами, почти всегда удовлетворял их.

Следующим нашим ротным начальником являлся фельдфебель. На эту должность назначили подпорщика Чуркина. Чуркин происходил из Волынской губернии. Он побывал на фронте и прибыл оттуда в Москву раненым. Изведав фронтовую жизнь, он решил во что бы то ни стало окопаться в тылу и старался во всю. Легче было иметь дело с прапорщиком Лузиным, чем с ним. Грубый, невыдержанный, стремящийся выслужиться, он невыносимо придирался к солдатам — особенно перед лицом начальства, — целый день бегал с места на место и кричал визгливым голосом на каждого обращавшегося к нему с вопросом или просьбой.

Вообще он совершенно не стеснялся и заводил в роте собственные чуркинские порядки. В то время как при нормальных распорядках взводные унтер-офицеры могут сами давать солдатам отпуска до проверки, Чуркин распорядился, чтобы никто не выходил из команды без его записки. Даже взводные унтер-офицеры, прежде чем выйти в город, должны были не только доложить об этом ему, но и попро-

сить у него разрешения. В этих случаях Чуркин ломался, корчил из себя большого начальника и, наконец, давал разрешение с таким милостивым видом, будто исполнял чорт знает какую большую просьбу.

В качестве взводного унтер-офицера первого взвода был назначен Поморин, кряжистый сибиряк из запасных, принимавший на фронте участие во многих боях и выдавший в жизни всякие виды. Очень толковый парень, не стремящийся к подхалимству и выслуживанию перед начальством, прямолинейный и честный — он пользовался любовью и уважением солдат своего взвода.

Вторым взводом назначили командовать меня. Я продолжал ходить на костылях и мое положение в роли взводного было несколько комично. Мне стоило больших трудов исполнять свои унтер-офицерские обязанности, несмотря на то, что два месяца, проведенные в лазарете, достаточно подлечили мою рану.

Третьим взводом командовал Мерянцев, фельдфебель из запаса, бывший перед военной службой приказчиком в гастрономическом магазине и сохранивший свои привычки приказчика до сих пор. Он говорил с солдатами ласковым, несколько снисходительным тоном, но за ласковостью его и любезностью сквозило умение держать своих людей в руках. Также как и Чуркин он старался как можно чаще показываться на глаза начальству и всячески угождал ему — в надежде, что это поможет на более

продолжительное время удержаться в команде вы-
здравливающих.

Четвертый взвод еще только начинал формиро-
ваться и постоянного взводного там пока что не
было. Из остальной же ротной администрации, имею-
щей то или иное значение для солдат и могущей
оказать им какую-либо услугу или пакость, опишу
еще ротного писаря еврея Гольдберга.

Гольдберг был сыном крупного московского ману-
фактуриста и получил хорошее образование. Почти
ежедневно к нему приезжали его сестры, привозили
груды продуктов и всяческой снеди. Прапорщик Лу-
зин с ним считался — возможно, благодаря торго-
вым связям — а Чуркин перед ним лебезил и заиски-
вал. На солдат Гольдберг производил хорошее впе-
чатление тем, что никогда ни на кого не наговари-
вал и держался ровно с каждым, кто бы ни приходил
к нему в канцелярию. Он всегда внимательно выслу-
шивал, записывал солдатские просьбы, докладывал
их затем ротному командиру и сообщал о резуль-
татах. К делу, к своим обязанностям Гольдберг от-
носился пунктуально-точно и никто из нас — не
только фельдфебель или унтер-офицеры, но и сол-
даты не могли пожаловаться, что он в том или ином
случае действовал пристрастно. Связи у Гольдберга
были должно быть большие — об этом можно судить
по тому, что начальник команды разрешил ему по
окончании занятий уходить к себе, на частную квар-
тиру. К чести Гольдберга нужно сказать, что этим

правом он пользовался очень редко и уходил из команды только по субботам, в остальное же время ночевал в ротной канцелярии, где для него поставили топчан.

Таково было начальство роты, управлявшее и руководившее больше чем пятьюстами искалеченных людей.

* * *

С первых же дней пребывания в роте у меня обострились отношения с Чуркиным. Неизвестно почему — то ли от зависти, то ли от желания продемонстрировать перед другими свою власть надо мною — он часто придирался ко мне и иронически посмеиваясь за моей спиной, говоря что вот мол хоть и георгиевский кавалер и будущий прапорщик, а все же находится под командой у него, Чуркина, и что он Чуркин хочет, то с ним и сделает.

Особенно часто придирался Чуркин к моим уходом по окончании служебных часов в город — тем более, что обычно я уходил, не спрашивая у него разрешения. Формально он был, конечно, прав, но его мерзкая рожа не позволяла мне разговаривать с ним спокойно, а обращаться к нему с какой-либо просьбой тем более.

Как-то после обеда, собираясь уходить из казармы, я наткнулся в воротах на дневального. Обычно дневальные пропускали взводных унтер-офицеров сво-

бодно, не требуя от них отпускных билетов. Но сейчас дневальный потребовал у меня пропуск. На мое замечание, что я взводный четвертой роты, послышался ответ, что имеется распоряжение фельдфебеля никого без его записки не пропускать.

Это обозлило меня. Однако вступать в пререкания с дневальным, который только выполнял чужие распоряжения, я не хотел и вернулся в казарму.

На следующий день, когда в роту прибыл прапорщик Лузин, я доложил ему о случившемся, прося дать указание Чуркину, чтобы он ко мне не придирался. Лузин при мне дал нахлобучку Чуркину и приказал приготовить и выдать мне на руки постоянный пропуск. Кроме того, он потребовал, чтобы впредь подобного обращения со взводными унтер-офицерами не было.

Этот случай еще больше озлобил Чуркина. Он по несколько раз в день заходил в казармы моего взвода, стараясь к чему-нибудь придраться.

— Ну, это шкура, — говорили солдаты про Чуркина. — Вот дай поправиться — мы его так «очурачим», что своих позабудет.

* * *

К концу недели нас всех вызвали на медицинский осмотр.

В одной из комнат административного корпуса заседала комиссия из нескольких врачей и офицеров.

Солдаты, выстроившись в затылок друг другу, проходили через эту «комиссию», задерживаясь каждый буквально в течение нескольких секунд. Врач приказывал заранее снимать рубашки или шаровары, смотрел кто куда ранен, взглядывал на лицо раненого, отмечал что-то в своей книге и на этом «осмотр» заканчивался.

Это была не медицинская комиссия, а какая-то комедия, неизвестно для чего устроенная. Результат впрочем сказался довольно скоро — уже на следующий день в ротной канцелярии вывесили список, гласящий, что перечисленные в нем солдаты (человек сорок) признаны здоровыми и подлежат выписке на фронт. Я в этот список не попал, очевидно потому, что был на костылях, без которых все еще не могу обойтись. Если бы не костыли, я вероятно тоже очутился бы в числе «здоровых».

Тут можно отметить, что через две недели была разыграна следующая комиссия — теми же самыми способами и с тем же результатом.

* * *

Вскоре после прибытия в команду выздоравливающих, я встретился там со своим однополчанином, бывшим агрономом из Калужской губернии Ильиным. Он призывался на военную службу одновременно со мною, в 1913 году.

Я очень обрадовался встрече с товарищем по полку, но мне тут же пришлось разочароваться в нем. Он

рассказал, что во время мобилизации был болен и потому не мог отправиться вместе с полком на фронт. Выписавшись из лазарета он попал в запасную часть, затем заболел и уже как больной попал в Ляпинку. Последние полгода он служил писарем в канцелярии второй роты.

— Что же, нравится тебе здесь? — спросил я. — Ведь здесь такая мерзость во всех ваших ротах.

— Ну какая мерзость! По моему ничего более мерзкого, чем фронт, не может быть. Там того гляди убьют, искалечат, а здесь я живу себе, день пишу, а вечером и ночью — свободен, делаю, что мне угодно... Позиция — для дураков, а тот, кто похитрее, да поумнее, никогда туда не попадет.

— Так что же у тебя за секрет такой?

— А очень просто. Я заболел гонорреей, из госпиталя попал в запасной полк, а потом сюда. Здесь так и продолжаю числиться «хроником».

— Ну, хорошо, это ты. А все остальные?

— И остальные вроде меня. У нас почти никого нет, кто побывал бы на фронте. Здесь все молодчики из запасных полков, главным образом москвичи... Многие так специально и ловчатся получить гоноррею, чтобы попасть в нашу команду. Ведь мы здесь, пожалуй, до самого заключения мира пробудем.

— Бить вас сволочей надо, — возмутился я.

— Ничего!.. Видно мало тебе попадало на фронте. Я знаю таких, что после фронта за счастье считают получить гоноррею и застрять в тылу.

— Ну, а сифилитики?

— То же самое,— смеялся Ильин. — Ведь с сифилисом, полученным до призыва, в армию не принимают. Значит, сюда попадают те, что заразились уже в запасном полку... Да что тебе рассказывать— если хочешь остаться в Москве, я тебя могу устроить, познакомлю с такой особой, что прямехонько попадешь в нашу роту.

— Нет, уж благодарю покорно! — ответил я. — Пусть уж лучше мне перебьют вторую ногу.

На этом мы с ним расстались.

* * *

Среди офицеров нашей команды один только прапорщик Лузин вполне здоровый физически человек и служит здесь, благодаря своим связям. Офицеры же остальных рот такие же венерики, как и солдаты. Начальник команды, полковник Иванов — сифилитик. Прапорщик Махров, Свиридов, Свирский — больны гонорреей и притом большие пьяницы, хотя при гоноррее, как мне известно, спиртных напитков пить нельзя — конечно тому, кто хочет вылечиться. Пьют эти господа видимо затем, чтобы задержаться в команде выздоравливающих как можно дольше.

Любопытен Махров, прапорщик, окончивший Владимирское военное училище в первый период войны.

Это — мальчишка, со средним образованием, но уже насквозь прогнивший морально и не стесняю-

щийся ради своих выпивок обирать солдат. Мне рассказывали, что нет почти ни одного человека в роте, у которого он не брал бы взаймы — понятно без отдачи. Солдаты, к которым он обращался за тремя или пятью рублями, сначала охотно раскошеливались, полагая, что тем самым получают возможность более льготного жития. Но когда Махров стал должником всей роты, думать о каких-либо льготах не приходилось и солдаты стали его избегать.

Как-то выходя из ротной канцелярии, я столкнулся с Махровым.

— А, фельдфебель, здорово! — пьяным голосом обратился он ко мне, покачиваясь с каблуков на носки.

— Здравие желаю, ваше благородие, — ответил я по уставу.

— Ты, говорят, скоро прапорщиком будешь? (Я один во всей команде имел золотой георгиевский крест, и меня приметили все люди кадрового состава).

— Так точно, говорят, ваше благородие.

— Ну вот, тогда будем знакомы. А сейчас дай, голубчик, пять рублей взаймы.

— У меня денег нет, ваше благородие. Будут только тогда, когда стану прапорщиком.

— Жаль, а то мне опохмелиться надо... Я думал, ты степенный мужик! Может три рубля найдешь?

— И трех рублей нет, ваше благородие.

— Фу ты, чорт тебя побери... Ну ладно, флакон одеколona стоит полтора рубля, полтинник у меня есть, давай рубль.

— И рубля нет, ваше благородие.

— Тогда убирайся ты к...

Я повернулся и пошел от него; в ушах звенели трехэтажные ругательства.

* * *

Торговля спиртными напитками в Москве воспрещена — в трактирах не дают даже пива. Тем не менее, проходя по городу, особенно по нашему Серпуховскому району, всегда натыкаешься на большое количество пьяных.

Недалеко от Ляпинки помещается чайная «Петроград». Эта чайная служит излюбленным местом пребывания низшей администрации и зажиточных солдат нашей команды. Заходил в нее несколько раз и я и никогда не встречал ни одного трезвого человека, хотя водки там конечно не подавали.

Секрет раскрывался очень просто: рядом с чайной помещался аптекарский магазин, в котором постоянно можно было видеть чуть ли не очередь покупателей одеколона №3.

Одеколон №3 — это произведение военного времени, выпущенное фирмой «Феррейн» после того как была прекращена продажа водки. Представляет он из себя ни что иное, как спирт, крепостью градусов в пятьдесят, слегка сдобренный эссенцией и на вкус напоминающий водку, настоянную на лимонной корке. Этот одеколон продается флаконами по двести,

и четыреста грамм, т.-е. от полбутылки до бутылки величиной, по цене полтора рубля за двести грамм.

Солдаты, мастеровые, приказчики, служащие запасаются этим одеколоном, приходят в чайную, требуют для видимости бутылку ситро, наливают немного ситро в стакан и добавляют затем до краев одеколоном. Таких флаконов один-два — и пьян.

Я, грешный человек, в день получки жалованья, когда мне выплатили положенные по разряду шесть рублей, тоже попробовал этот одеколон, израсходовав на него три рубля, т.-е. половину своего месячного бюджета.

В нашем Серпуховском районе торговля одеколоном идет очень бойко и, если то же творится по всей Москве, «Феррейн», надо полагать, выручает колоссальные суммы.

Впрочем пьют в Москве не только одеколон — пьют политуру, лак и еще какие-то суррогаты, до денатурата включительно.

Однажды мне пришлось побывать у одного своего знакомого, работавшего половым в трактире. По случаю встречи со мной, да еще с «героем» и георгиевским кавалером, он заказал яичницу и, нырнув куда-то в заднюю комнату, вскоре притащил две бутылки «портвейна». Сидя с ним за этим напитком, совершенно непонятного вкуса, я имел возможность наблюдать, как приходившие в трактир посетители сначала заказывали закуску, а затем подходили к буфетчику и тайно с ним перешептывались.

Через несколько минут на их столик ставили чайный прибор, при чем чайники вместо кипятка были наполнены «портвейном».

Таких посетителей была добрая половина.

Напившись «чаю» они начинали шумно разговаривать, высказывая свои взгляды на войну и на политику. Разговоры вертелись главным образом вокруг плохих «министров из немцев». Говорили также об исчезновении мелкой разменной монеты и о том, что нигде нельзя достать папирос низших сортов. По поводу войны высказывались самые безапелляционные суждения. Находили, что в штабах измены и что немцев мало побили во время московского погрома в мае месяце; говорили, что немцы засели во всех центральных учреждениях и нарочно пакостят, чтобы взять Россию измором. Белую муку и другие товары доставать трудно по их мнению потому, что богачи-немцы скупают и прячут эти продукты. Отступление по всему Западному фронту, заставившее наши войска очистить Польшу и вызвавшее уже наплыв беженцев-поляков в центральные губернии, они объясняли изменнической деятельностью различных немецких генералов в нашей армии.

— А все-таки побьем! — упрямо, полупьяными голосами кричали они.

Подобные разговоры, подслушанные в трактирах, естественно переносились и в казармы. Солдаты часто собиравшись группами и обсуждали положение на фронтах. В возможность дальнейших побед

над немцами и австрийцами почти никто не верил, так как все мы отлично знали, что в армии нет снарядов и оружия, что пополнения приходят на фронт с голыми руками.

В газетах попадались тревожные статьи о том, что необходимо удлинить рабочий день на фабриках и заводах и удерживать рост заработной платы, чтобы приостановить увеличение дороговизны.

Большие надежды возлагались на предстоящий созыв государственной думы, которая, по слухам, должна была резко поставить вопрос о дальнейших способах ведения войны и снабжения армии.

Среди солдат тяга к миру, к окончанию войны росла с каждым днем, ибо непрерывные мобилизации старших и младших возрастов совершенно оголили деревни, сокращая число рабочих рук и размеры посевной площади и уменьшая тем самым благосостояние крестьян.

* * *

Из нашей роты понемногу стали дезертировать отдельные солдаты. Почти каждое утро мы не досчитывались нескольких человек.

По распоряжению начальника команды постовые были поставлены не только около каждой калитки, но и во всех тех местах, где забор, окружавший Ляпинку, оказался недостаточно высоким. Ежедневно в наряд уходил целый взвод и каждый солдат роты

через два дня в третий стоял в карауле. Однако это помогало плохо. Бывали случаи, когда даже стоявшие на посту караульные бросали берданки, выданные им вместо давно отсутствующих винтовок, и тоже удирали.

Сентябрь

Государственная дума предъявила правительству требования об ответственном министерстве и была распущена — или разогнана, как говорили среди нас.

В ответ на это прокатилась волна забастовок. Несколько дней бастовал московский трамвай, что, между прочим, вынудило меня прекратить прогулки по Москве, — на костылях далеко от своих казарм не уйдешь.

Положение на фронте становилось все хуже и хуже. Крепости сдавались противнику одна за другой, пала Варшава, пал Ивангород, Осовец и другие... В районе Сморгони немецкая кавалерия прорвала фронт и пробралась глубоко в тыл армии — чуть ли не до Смоленска. Этот прорыв внес панику в наши части и они безудержной лавиной откатывались вглубь страны.

* * *

Откуда-то сверху в команду выздоравливающих пришло распоряжение ввести строевые занятия по типу тех, что ведутся в запасных частях.

Прапорщик Лузин вызвал взводных унтер-офицеров и сказал, что с завтрашнего дня мы должны приступить к занятиям.

— Как же так, — докладывали мы ему, — ведь у нас большинство на костылях, мы не можем делать никаких перестроений. К тому же у нас и винтовок нет.

— Винтовки вы получите на каждый взвод по десяти штук. Если не можете заниматься в строю, проходите уставы. Займитесь, — настойчиво повторил он, — и непременно с завтрашнего дня. Так требует начальник команды.

На следующее утро мы вывели свои взводы на двор Ляпинки.

Я посадил своих людей в кружок, а сам сел в центре и начал добросовестно готовиться к об'яснению различных уставных положений. Солдаты, увидев это, рассмеялись:

— Брось, взводный! Дурак ты что ли? Лучше газету почитай, — и сразу с нескольких сторон ко мне посыпались «Русские ведомости» и «Русское слово».

Я согласился читать, но только в том случае, если с каждой стороны сядут по одному человеку спиной к остальным с тем, чтобы смотреть как бы не появился ротный командир или начальник команды, а особенно — сволочь-фельдфебель.

Часа два мы просидели за газетой, читая о том, что творится на фронте. Телеграммы ставки успокаивали читателя. В них говорилось, что наши части в полном

порядке, по стратегическим соображениям, отходят на заранее укрепленные позиции — что в таком-то районе взято большое количество пленных австрийцев и т. п. — словом, прекрасное казенное благополучие. Для нас, побывавших на фронте, было совершенно понятно, что значит отход армии на «заранее укрепленные позиции». Наименования же местностей, приведенные в газете, показывали, что «отход» этот совершается самым стремительным темпом.

— Что же, ребята, — говорили некоторые из солдат, — очевидно, теперь можно ждать немцев и под Москвой.

— Ну, до Москвы не дойдет, небось помнят, как Наполеон застрял... А в общем на что нам эта Галиция? Правда, города там красивые, да что города — нам солдатам по шубе не сошьют.

— Землишки бы, — мечтательно говорили другие, — вот бы к нам в Рязанскую губернию такую землю, как в Галиции, в год бы поправились!

— Чего тебе австрийская земля далась? — отвечали другие, — небось под боком своя есть. Ты сначала свою возьми, а потом об австрийце думай. Там тоже мужики живут, им тоже жрать надо...

В таких разговорах проходили наши «занятия». Но вот однажды наши «наблюдатели» заслушались. Сидеть спиною к остальным им, очевидно, не хотелось, они увлеклись общим разговором и над нашими головами неожиданно раздался окрик Лузина:

— Так вот вы чем занимаетесь!

Я подал команду:

— Встать, смирно!

Лузин поздоровался и спросил:

— Вы что же, газеты читаете вместо устава?

— Никак нет, ваше благородие, мы изучали устав, а сейчас у меня десяти-минутный перерыв, так мы на это время взяли газету.

— А-а... Ну, ладно, занимайтесь дальше.

— Ваше благородие, — набрался я смелости, — а скажите по совести, не лучше ли, чем сидеть нам за этим уставом, вообще почитать газету?

— А уж это твое дело. Если я вас увижу за газетой, ругаться не буду, а если увидит начальник команды, то попадет не только вам, но и мне.

— Мы для начальника команды дневального выставим.

— Ну, ну,ставляйте, — рассмеялся он и ушел.

С этого дня, выходя на занятия, мы хотя и брали с собою для отвода глаз устав и пару винтовок, но на самом деле проводили время за чтением газет и за разговорами. В результате таких чтений создалась какая-то особенно крепкая спайка среди людей взвода. Все стали как-то ближе друг к другу, сплоченнее... Но несмотря на это мы все же ежедневно недо-считывались нескольких человек, и если исчезновение людей сразу не бросалось в глаза, то исключительно потому, что на укомплектование взводов ежедневно приходило по несколько новичков. Что творилось бы в наших казармах при отсутствии дезертирства я не

могу себе представить. Мы должно быть совершенно задохлись бы в тесноте.

* * *

Как-то поздно ночью, проходя мимо помещения второй роты я услышал игру на гитаре и пение женских голосов. Сообразив, что у Ильина собрались гости, я зашел к нему.

В небольшой комнате ротной канцелярии за столом восседали, кроме Ильина, фельдфебель второй роты, подпрапорщик Нефедов, прапорщик Махров и с ними три полупьяные девицы. На столе стояли опорожненные и начатые флаконы с одеколоном, бутылки из-под портвейна, разные закуски и фрукты.

В комнате, как говорится, дым стоял коромыслом. Ильин играл на гитаре, прапорщик пытался что-то петь, но у него, кроме пьяного бормотания, ничего не получалось, а девицы визгливыми голосами вывелили:

На мягкой пуховой постели...

К моему приходу все отнеслись равнодушно.

— А, земляк, — крикнул Ильин, — садись.

Я сел.

Девицы перестали петь и уставились на меня пьяными глазами.

— Вот, Оленин, — заговорил Ильин, — для тебя удобный случай застрять в Москве на долгое время. Знакомься!

Я поморщился и хотел было уйти, но Нефедов ухватил меня за гимнастерку и посадил на стул. Одна из девиц пошатываясь сошла со своего места и попыталась сесть ко мне на колени. Я довольно грубо оттолкнул ее. Однако, против портвейна я ничего не имел и с удовольствием выпил протянутый мне стакан.

Махров вскоре захрапел, свалившись на пол, подле стола. Ильин продолжал брэнчать на гитаре. Нефедов усадил к себе на колени одну из девиц и, не стесняясь присутствием других, начал ее раздевать. Понимая, чем все это кончится, я воспользовался увлечением Нефедова и выскользнул из комнаты.

На другой день говорили, что кутеж происходил по случаю выгодной продажи фельдфебелем старых солдатских вещей, хранившихся в цейхгаузе второй роты.

* * *

Через несколько дней после этого пронесся слух, что в нашу команду приезжает командующий московским округом Моразовский — гроза для офицеров московского гарнизона.

Часов в пять вечера поднялся переполох. По ротам забегали фельдфебели — и солдаты принялись наводить порядок, тщетно пытаясь придать «зеркальный вид» нашим гнусным казармам. Вся уборка заключалась в том, что мы более аккуратно свернули свои

шинели, вымыли полы, убрали вокруг корпуса двор и посыпали песочком дорожки.

До наступления темноты, вся команда возилась с уборкой, ночью же солдаты чинили свое платье, до блеска начищали сапоги, — словом делали все возможное для того, чтобы предстать перед начальством в достаточно опрятном виде.

На следующий день, часов в одиннадцать утра, к воротам Ляпинки подъехал автомобиль. Из него вышел огромного роста генерал, полуседой, с нахмуренными, нависшими на глаза бровями, с нервно-подергивающимся лицом. В правой руке он держал стэк. В петлице наглухо застегнутой генеральской шинели виднелся Владимир второй степени.

Генерал крупными шагами направился к зданию.

Выбежавший навстречу ему офицер начал было отдавать рапорт, но генерал отстранил его рукой в сторону и вошел в помещение команды.

Подполковник Иванов, от страха побелевший и посиневший одновременно, начал рапортовать:

— Ваше превосходительство...

— Не превосходительство, а высокопревосходительство, — грубо оборвал его Моразовский. — Подполковник, а не знаете, как титуловать!

— Ваше высокопревосходительство, — запинаясь произнес Иванов, но растерялся, запутался и не смог произнести дальше ни одного путного слова.

Не слушая его Моразовский начал обход. Войдя в нашу роту, он сказал несколько слов о том, что де-

скать «страна отблагодарит вас, ливших свою кровь на поле сражения»... Заметив на моей груди крестик второй степени, он спросил:

— Где и за что?

— На Юго-западном фронте, лично их высокопревосходительством генералом Лейчицким, ваше высокопревосходительство, — отпрапортовал я, стараясь держаться строго по уставу.

— Служи царю и отечеству, старайся и впредь.

Генерал пошел дальше. Проходя по помещению второй роты, он обратился к Иванову:

— А здесь кто?

— Больные, ваше высокопревосходительство.

— Какие, чем?

— Венерические ваше высокопревосходительство.

— Гнать немедленно! — крикнул генерал и, резко повернувшись, направился к выходу.

В результате этого осмотра через несколько дней была назначена медицинская комиссия, которая быстро распотрошила венерические роты — не удержался даже мой Ильин. Всех венериков по распоряжению Моразовского направили на фронт в тыловые команды на всевозможные, главным образом, окопные работы.

Решительность Моразовского по отношению к венерикам подействовала благотворно на настроение солдат нашей роты, которые с ненавистью смотрели на этих лодырей в количестве нескольких тысяч человек, занимавших помещения команды и жравших казенные пайки.

* * *

После того как венерические роты были отправлены на фронт, вокруг нашей Ляпинки осталось множество «вдовствующих» девиц легкого поведения. Все они, крутившиеся с венериками и имевшие среди них приятелей и сутенеров, теперь охолостели и пытались завести знакомство со здоровыми солдатами.

Я несколько раз говорил с людьми своего взвода, предупреждая, чтобы они не поддавались искушениям и держались осторожнее по отношению к девицам. Однако, несмотря на все предупредительные меры, неделики через полторы из наших рядов начали выбывать солдаты, заразившиеся венерическими болезнями.

* * *

Чуркин, попрежнему ненавидевший меня, явившись как-то ко мне во взвод, принял такой начальнический тон и так начал меня распекать, что я не вытерпел и сказал, что дам ему по физиономии, если он не замолчит.

Он взбешенный убежал, грозя подать рапорт по команде.

— Чорт с тобой, подавай, а пока тебе шею нако-
стыляю, — крикнул я вдогонку.

Как раз в этот день я получил письмо из полка, от Воропаева. Он писал, что в ближайшие дни ожидается официальный приказ о моем производстве в прапорщики, что за бои на Карпатах я получил крест

первой степени, а за бои под Буховцем — медаль первой степени. Таким образом у меня уже имелись все четыре креста и все четыре медали, а здесь какая-то сволочь, Чуркин, не давала мне житья!

Вечером Лузин рассказал, что Чуркин пожаловался на меня и подает рапорт, и советовал как-нибудь урегулировать это дело, так как иначе могут быть крупные неприятности — тем более, что у Чуркина есть свидетели, что я оскорбил его в присутствии солдат целого взвода.

В ответ я рассказал Лузину всю историю моих взаимоотношений с Чуркиным и в заключение показал письмо Воропаева. Лузин сказал, что принимает все это к сведению и разделается с Чуркиным, но если тот будет настаивать на предъявлении рапорта по команде, то задержать рапорта он не сможет.

Октябрь

Ночью ко мне подошел взводный первого взвода Поморин, с которым у нас установились хорошие товарищеские отношения. Он предложил прогуляться с ним по двору. Не понимая в чем дело, я все же согласился.

Ночь была темная, облака закрывали звезды. Поморин, очевидно чем-то сильно расстроенный, молчал.

— Что с тобой? — спросил я, — вытащил меня среди ночи на двор и молчишь.

— Видишь ли, я не хотел, чтобы кто-нибудь меня услышал... Я получил из деревни письмо. Ты знаешь

в Сибири мы живем на хуторах. У моего отца в хозяйстве около сорока десятин земли на семью в двенадцать человек. Недавно, после того, как был снят урожай, кто-то поджег наши скирды. Сгорел весь хлеб и все постройки. Семья осталась почти нищей... Но это еще полбеды. В уездный город, верст за двенадцать от нас, прибыл кавалерийский отряд во главе с казачьим или кавалерийским офицером. Люди этого отряда объезжали хутора, скупая лошадей. Явились они и к моему отцу. Единственное, что осталось у отца от пожара, это — скот, и он был вынужден продать часть лошадей. Нужно тебе сказать, у нас там процветает в изобилии самогон. Устроили выпивку. Отца напоили пьяным, старшего брата, еще не призванного в армию — тоже, и пользуясь этим изнасиловали моих двух сестер, жену и жену другого брата, который сейчас на фронте... Так вот я хочу сейчас отправиться туда и если разыщу этих негодяев, то перестреляю их как собак.

Я пробовал отговорить Поморина от дезертирства, советовал подать письменное заявление по команде с просьбой привлечь к ответственности насильников, но он не слушал меня.

Тогда я в свою очередь рассказал ему об инциденте, который произошел сегодня у меня с Чуркиным и о разговоре с Лузиным.

— Уж если хочешь уходить, так пойдем вместе. Ты в Сибирь, а я заеду домой — и на фронт. Ехать нам пока вместе.

— Так пойдем!

— Зайдем в команду, заберем вещи.

— А ну их к чорту, связывать только будут. Бежим сейчас.

— С какого же вокзала мы поедем?

Остановившись мы стали советоваться, как лучше бежать, чтобы не быть настигнутыми. Удобнее всего было ехать с Курского вокзала на Тулу; там пересесты и двигаться дальше через Самару и Челябинск.

— А ведь теперь на всех вокзалах бывают облавы, — сказал я, — у солдат проверяют документы.

— Но ведь мы можем уйти дальше за город, — возразил Поморин, — и сесть на следующей станции.

— Верно. Но это далеко... Давай лучше сделаем так: Курский вокзал имеет два отделения, пассажирское в центре и товарное у Рогожской заставы. На товарном вряд ли можно ждать облавы. Пойдем на Рогожский и если увидим, что там есть караул, дойдем пешком до следующей станции.

Начал накрапывать дождь. Забравшись в самый темный угол двора, где не было никаких часовых, мы соорудили из сложенных поблизости в штабеля дров возвышение, с которого можно было бы достать руками до края забора.

Перемахнув через забор мы быстрыми шагами, стараясь идти по темным улицам, направились к Рогожскому вокзалу.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Глава I. Призыв и служба в роте.	11
„ II. В учебной команде.	42
„ III. Мобилизация.	59
„ IV. В пути.	79
„ V. Война.	101
„ VI. Бои на Висле.	120
„ VII Под Ченстоховым.	152
„ VIII. На реке Ниде.	157
„ IX. В Буковину.	177
„ X. Карпаты.	185
„ XI. Переход через Бескидский хребет.	203
„ XII. Великий отход.	228
„ XIII. Бои у Крукинец.	240
„ XIV. Отступление продолжается.	254
„ XV. Ранение.	270
„ XVI. В госпитале.	279
„ XVII. В команде выздоравливающих.	303



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ФЕДЕРАЦИЯ“

Москва, площ. Свердлова, Копьевский пер., 3.
Телефон 4-46-74.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА

Акульшин, Р. — Христопродвец. Стр. 72. Ц. 50 к.
Бабель, Н. — Ко на р м и я. Изд. 3-е. Стр. 84. Ц. 60 к.
Бибик, А. — День причастия. Рассказ. Стр. 44.
Ц. 30 к.

Бахметьев, В. — Одна ночь. Стр. 48. Ц. 35 к.
Буданцев, С. — Мятеж мобилизованных. Из романа „Командарм“. Стр. 60. Ц. 45 к.

Веселый Артем. — Дикое сердце. Стр. 36. Ц. 25 к.
Губер, Б. — Шарашкина контора. Повесть. Стр. 52. Ц. 35 к.

Замойский, П. — Плотина. Стр. 48. Ц. 35 к.
Кольцов, М. — Октябрь. Стр. 68. Ц. 45 к.
Крестьянские поэты Октябрю. — Сборные стихов. Стр. 48. Ц. 30 к.

Пришвин, М. — Погоня за счастьем. Рассказы. Стр. 60. Ц. 45 к.

Свирский, А. — Хорошее время. Рассказы. Стр. 68.
Ц. 45 к.

Сейфуллина, Л. — Правонарушители. Стр. 72.
Ц. 50 к.

Ужгин, С. — Костры. Рассказы. Стр. 48. Ц. 35 к.
Фурманов, Д. — Чапаев. В сокращении И. В. Е. Стр. 88. Ц. 60 к.

Книги „Общедоступная библиотека“ рекомендованы
Пуром для библиотек Красной армии (см. „Реком. сп.
за №№ 37 и 40).

Для полковых и ротных библиотек пересылка бесплатно

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА
Москва, Центр, Богоявленский пер., 4 и во все магазины
и отделения Госиздата



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ФЕДЕРАЦИЯ“

Москва, площ. Свердлова, Копьевский пер., 3.

Телефон 4-46-74.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА

Цена каждого номера — 15 коп.

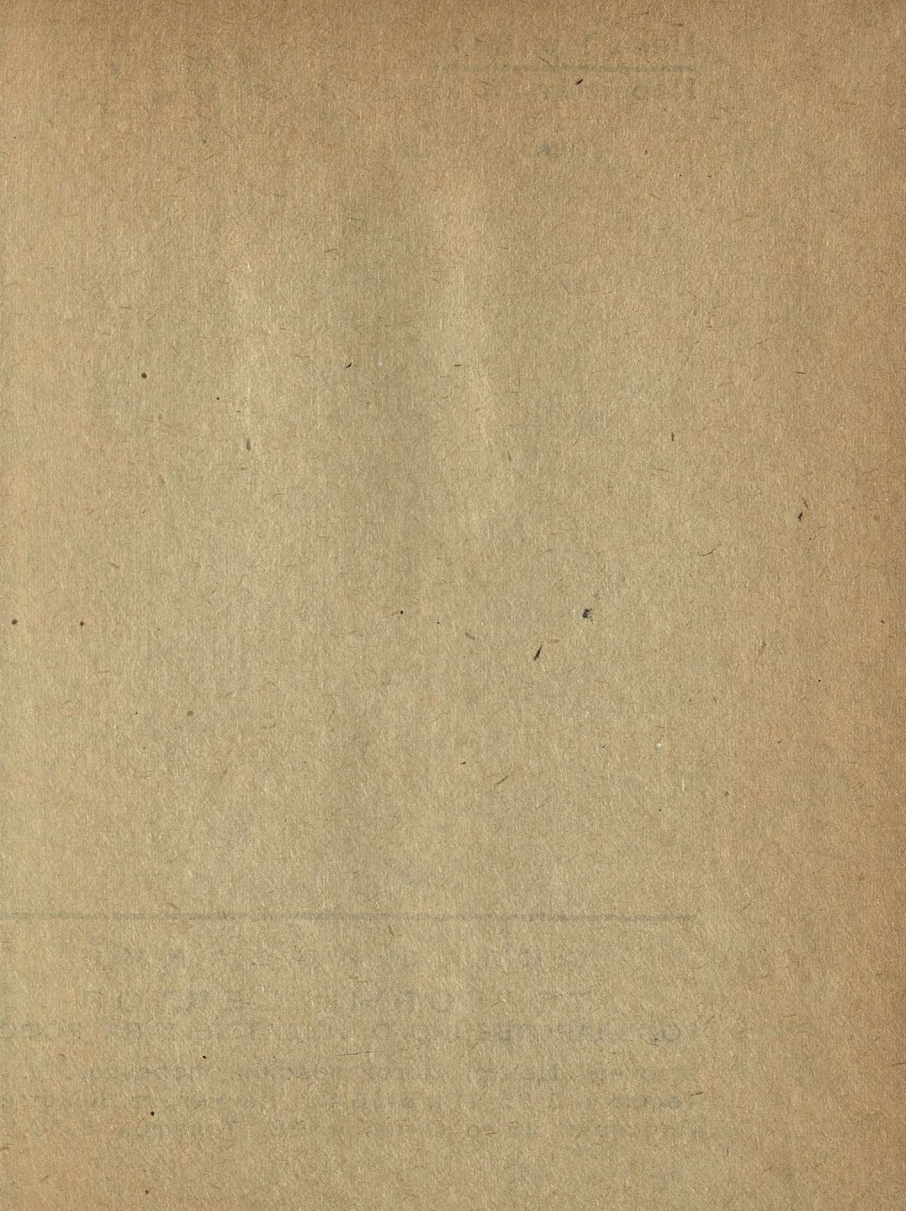
- № 1. Волков, М. — Волчьи души. Рассказ.
- № 2. Дубовской, В. — Большевицкий дождь.
Пьеса в четырех действиях.
- № 3—4. Зуев, А. — С мута. Рассказ.
- № 5. Иванов, Вс. — Полая Арапия. Рассказ.
- № 6. Крутойярский, А. — № 69814. Рассказ.
- № 7. Ляшко, Н. — Нарная чертовщина. Острожная сказка.
- № 8. Низовой, П. — Крыло птицы. Рассказ.
- № 9. Онищенко, К. — Сверчок. Рассказы, перевод с украинского.
- № 10. Под'ячев, С. — Случай с портянками.
Рассказ.
- № 11. Ряховский, В. — По растополью. Рассказ.
- № 12. Тамарин, В. — Пустыня. Рассказ.
- № 13. Тренев, К. — Вихри. Рассказ.
- № 14. Его-же. — Батраки. Рассказ.
- № 15. Федин, К. — Рассказ об одном утре.

Для полковых и ротных библиотек пересылка бесплатно

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА

Москва, Центр, Божьявленский пер., 4 и во все магазины
и отделения Госиздата



Цена 1 р. 80 к.

Переплет 30 к.

13246

Тир.

4

С К Л А Д И З Д А Н И Я
Т О Р Г О В Ы Й С Е К Т О Р
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О И З Д А Т Е Л Ъ С Т В А Р С Ф С Р
Москва, Центр, Богоявленский переулок, д. 4.
Телефон 2-65-31 и 5-50-80. Ленинград, Ленотгиз,
Проспект 25-го Октября, 28. Телефон 5-34-18.

38



2022033564